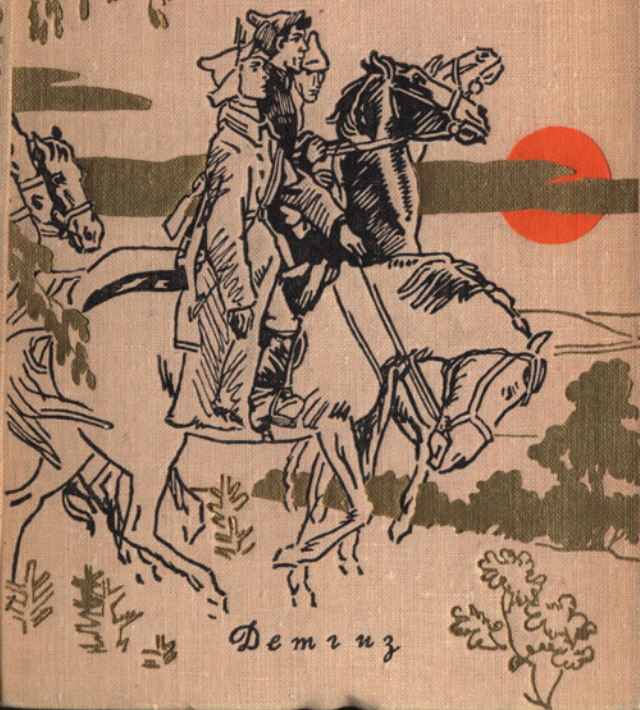


Арсений Рутыко

# ТЕБЕ МОЕ СЕРДЦЕ



Детиз

Арсений Рутыко-★ ТЕБЕ МОЕ СЕРДЦЕ

51kon.











*Арсений Рутько*

# ТЕБЕ МОЕ СЕРДЦЕ

*Повесть*



*Рисунки В. Ладыгина*

Государственное Издательство Детской Литературы  
Министерства Просвещения РСФСР  
Москва 1963



У каждого человека бывают в жизни моменты, когда необходимо собрать все свое мужество, всю свою волю и рисковать жизнью во имя дела, которому веришь и служишь, которому отдано твое сердце.

Юность Даниила Кострова совпала с мужественными и героическими годами революции и гражданской войны, годами больших испытаний и побед, с годами послевоенной разрухи, когда нашему народу приходилось напрягать все силы, чтобы начать строительство нового мира.

Но разбитый в открытом бою враг не сложил оружия: по всей стране вспыхивают пожары контрреволюционных мятежей, звучат предательские выстрелы из-за угла и даже на жизнь Владимира Ильича замахиваются черные, подлые руки. О том, как Даньке Кострову и его старшим товарищам — Сергею Вандышеву и Роману Корожде — удалось раскрыть один вражеский замысел, и рассказывает эта повесть.

### К ЧИТАТЕЛЯМ

*Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43.  
Дом детской книги.*



*...Нет сил, которые могли бы  
затемнить факел, поднятый  
Лениным в душной тьме обезумевшего мира.*

*М. Горький*

### У МОРЯ

В ту далекую осень в Севастополе стояли ясные дни, пронизанные холодеющим солнечным золотом, удивительно тихие после только что отгремевших боев, непривычные и как бы остановившиеся с большого разбега. Да, некуда спешить, можно целыми днями бродить в белокаменных улочках и переулках, карабкаться по истертым гранитным и песчаниковым ступеням, сидеть и слушать, как шумит море.

Мне, попавшему к морю впервые, оно представлялось бескрайним, голубым чудом, я не устал всматриваться в его слепящую даль, следить за прибоем, то лижущим, то грызущим все, до чего он мог дотянуться, — и каменные уступы берега, и ржавую, изорванную осколками снаря-

дов бортовую обшивку смертельно израненных барж и буксиров, и зеленое от мха подножие памятника затопленным во время Крымской войны кораблям. И как, наверное, у всех, у меня море рождало беспокойную, требующую деяния мысль о комариной мгновенности человеческой жизни, о том, как ничтожно мало дано нам делать и жить. Это ощущение усиливалось доносившимся с Корабельной стороны скорбным дыханием траурного марша: там каждый день хоронили умерших от ран красноармейцев и командиров, сражавшихся на Перекопе и Сиваше, под Ишунью и Симферополем.

У моря я часто вспоминал тех, с кем разлучила меня на время или навсегда война. На площади Павших бойцов в маленьком заволжском городке, над братской могилой, каплей крови цвела, не отцветая, пятиконечная жестяная звезда, — под ней лежал убитый белыми мой отец; в полукилометре от него, на кладбище, зарыли в землю самого дорогого мне человека, сестренку Подсолнышку, так и недожившую до сытой, счастливой жизни. Много ближе, на берегу Днепра, в Бериславском госпитале, метался в бреду Костя Рагулин, а обгаренные осенью листья акаций и раин уже покрыли пышным и печальным ковром преждевременную могилу Сони Кичигиной. Да, многие из дорогих мне не дошли до моря, не дожили до нашей победы.

В день, когда начинается эта повесть, я долго сидел на берегу моря у Графской пристани, думая: что же дальше? Гражданская война на юге России окончилась: 16 ноября 1920 года наши взяли Керчь — последний город, который удерживали в Крыму белые. Моя винтовка в тот день уже стояла без дела в одной из казарм на Корабельной стороне. «Дай бог, — думалось, — чтобы она никогда больше мне не понадобилась».

...Сейчас, когда с расстояния полувековой давности я оглядываюсь на то время, я не могу не вспомнить и залитых кровью родных полей, по которым мне, в ряду миллионов, пришлось пройти в Великой Отечественной войне, не могу не вспомнить бесчисленных братских могил — на тысячи человек!

Но тогда, у моря, мне казалось, что мы победили навеки, что война для нас окончена навсегда, хотя в те

ноябрьские дни семеновские бандиты<sup>1</sup> и японские самураи еще сжигали в паровозных топках таких, как Сергей Лазо, и распинали на воротах ревкомов и сельсоветов коммунистов Волочаевска и Хабаровска, Читы и Владивостока.

Тянуло ли меня тогда на родину, в места, где пробежало босиком мое нищее, голодное детство, где, недалеко от Симбирска, в Карамзинской колонии душевнобольных, томилась мать? Если бы я знал, что мне разрешат с ней увидеться, позволят взять ее из больницы и заботиться о ней, я бы, конечно, не раздумывая ни минуты, поехал, пошел бы пешком. Но еще до отправки на фронт я знал, что мама больна безнадежно, она уже никого не узнавала, только без конца нянчила соломенную подушку, которую звала Подсолнышкой, кутала ее в свои тряпки и «кормила» жалкой больничной похлебкой.

Той осенью случился в Севастополе человек, которого я очень уважал и любил, которому верил, как когда-то отцу, — бывший матрос-балтиец Сергей Вандышев, или, как его звали молодые, дядя Сергей. Одно время, в самом начале гражданской войны, он работал в родном для меня заволжском городке, — в 1918 году его вместе с несколькими другими балтийцами прислал на Поволжье Ильич. Именно там Вандышева прозвали «бешеным комиссаром» за его святую, непримиримую ненависть ко всем и всяким врагам революции; в Кустанае белые зверски замучили его мать и братишку—еще и этим определялась сила его ненависти. На Южном фронте мы встретились в Каховке, потом в Строгановке, а теперь он был комиссаром в полуразрушенном врангелевцами Севастопольском порту.

Я решил посоветоваться с ним, поговорить. Мне было совершенно безразлично тогда, где жить, а море так властно и так обещающе звало к себе. Сотни и тысячи матросов были убиты в последних боях, и, хотя многие корабли, полузатонувшие и покалеченные, стояли на приколе, люди на них были нужны. Там могло найтись место и мне.

Вот тогда-то, по пути в порт, я и столкнулся на Нахи-

---

<sup>1</sup> Семеновские бандиты. — В 1919—1920 годах в Сибири и на Дальнем Востоке орудовали банды под командованием атамана Семенова. (Здесь и далее примечания автора.)

мовской улице с девчонкой, которая потом надолго вошла в мою жизнь.

Она кралась по улице, держась вплотную к стенам и заборам, оглядываясь с тревогой и страхом. Худенькая, голенастая, босая, синенькое платье плотно облепляло на ветру ее острые колени. Светлые, чуть схваченные ржавчинкой волосы нечесаными прядями падали на худую шею, на сожженные солнцем плечи; из выреза платья торчали ключицы.

Девочка подошла к желтому одноэтажному дому, где в больших квадратных окнах красовались стеклянные, наполненные синей и розовой жидкостью шары, — такие шары раньше иногда заменяли для аптек вывески. Правда, на этот раз была и вывеска, обновленная, видимо, недавно, при белых: «Аптекарские товары и напитки. С. А. Бугазианос».

Не видя меня, девочка поднялась на крыльцо и, привстав на цыпочки, позвонила. Дверь долго не открывали. Я подошел ближе, и девочка оглянулась. Смуглые щеки ее блестели от слез. Я не сразу понял, что ее испугало. Она рванулась от двери, хотела бежать, но остановилась; прижала к губам худые пальцы, и этот ее жест поразил меня: точно так же несколько лет назад делала в испуге Оля Беженка, первая моя мальчишеская любовь, так и не ставшая любовью.

...Это было там же, в Заволжье, на моей родине. Оля сгорела на мосту, который мы подожгли, чтобы помешать белым вывезти с мельницы хлеб. Олю подстрелили, она упала на пылающие шпалы и поползла, крича: «Мама!» А кто-то из белых, бегущих к мосту, орал во весь голос: «Девку тащи! Она скажет!» И еще кто-то: «Пушай горит, сука! Туда и дорога!» Иногда по ночам мне и теперь слышится этот крик...

Когда я подошел вплотную, дверь аптеки открылась, в щель, через цепочку, выглянуло испуганное лицо.

— Мне нужно бинты, — быстро сказала девочка.

Аптекарь несколько мгновений смотрел на нее, словно не понимая. Потом закричал визгливо и жалобно:

— Ха! Бинты! И йод? Ну конечно, я так и думал! — Он с трудом высунул в щель руку и показал в мою сторону. — Вон у него! Весь мой честный труд грабили, дом

мой, гроб мой! А какие деньги принесла? Керенки? Советки? Будьте вы прокляты! У него, вот у него бинты! — И с силой, со стеклянным дребезгом захлопнулась дверь.

Вобрав голову в плечи, девочка побежала по улице. Я догнал ее и пошел рядом. С немым страхом и мольбой она оглядывалась на мою рваную шинель, на буденовский шлем, испятнанный кровью Кости Рагулина. Поворачивала из улицы в улицу, поднимаясь все выше, и на каждом повороте оглядывалась на меня. А я не знал, что меня вело за ней. Вероятнее всего, ненависть, которая сквозила в каждом ее жесте, в каждом взгляде. Я не мог этой ненависти ни понять, ни простить.

— погоди! — пытался я остановить девчонку.

Но только тогда, когда она вконец обессилела, она остановилась и, прильнув к стене, как загнанный звереныш, исподлобья посмотрела на меня, беспомощно опустив руки. Испачканные йодом пальцы с судорожной торопливостью перебирали оборки платья.

— У вас правда есть бинты? — спросила она, задыхаясь от бега. — Совсем нечем перевязывать. Я все рубашки и платья изорвала...

Я молча разглядывал ее.

— У вас отец есть? — спросила она еще.

В моей памяти мелькнула далекая жестяная звезда над братской могилой. Я сказал:

— Его убили.

— Кто?

— Белые.

Девочка отшатнулась, словно я ее ударил.

— И вы... ненавидите?

— Кого?

— Ну... белых.

— А кто этих сволочей любит!

Перепугавшись, она сорвалась с места и побежала, пошатываясь. Я снова догнал ее, схватил за руку. Она дрожала, как в лихорадке.

— Вы ему ничего не сделаете? — спросила она шепотом. — И, может быть, правда у вас есть бинты?

— Иди! — прикрикнул я.

Мы пришли на окраину города. В кривом, круто карабкающемся по каменным уступам переулке, прямо с

улицы, по скрипучей деревянной лестнице, поднялись во второй этаж. Почти весь этаж опоясывала терраса; толстые узловатые стебли винограда образовали над ней шатер, сквозь который теперь, когда облетела листва, просвечивал холодный хрусталь осеннего неба.

Я глянул вниз. Пыльный, каменный, белый, как все города юга, Севастополь лежал по обеим сторонам бухты. Вдоль берегов причудливо змеились улицы в булыжной чешуе мостовых. За серыми башнями, стерегущими вход в бухту, ослепительно и неподвижно раскинулось блестящее, как ртуть, море; над ним дрожала серовато-жемчужная, просвеченная солнцем мгла. А глубоко вниз, у причалов, темнели уцелевшие в боях суда. Чуть слышно, как ночной шепот, доносился сюда прибой.

По дороге девочка сказала мне, что зовут ее Олей, и я снова почувствовал волнение, как будто из далекого, трудного и все-таки милого прошлого хлынула на меня волна еще неостывшего чувства. Мне показалось знаменательным, что зовут эту девочку так же, как звали ту, погибшую и почти родную мне.

Фамилия этой новой Оли была Жестякова. Она родилась и выросла в Севастополе, в том самом доме, куда мы пришли. Дом принадлежал ломовому извозчику Хабибуле Усманову. Отец Оли, капитан Жестяков, снимал у Хабибулы верхний этаж с тех пор, как родилась Оля и умерла — вскоре после рождения Оли — ее мать. Нередко отец брал Олю с собой в плавание, если «Жемчужина» шла куда-нибудь недалеко, в Балаклаву или в Ялту, — к морю девочка привыкла с пеленок... Она рассказывала об этом рваными, неуклюжими фразами, с той торопливой услужливостью, с какой говорят, если хотят задобрить и подкупить.

Мы вошли. Тяжелый запах гноя и тлена. Но больного я увидел не сразу: его кровать стояла за синей занавеской в балконной нише, выходившей окнами к морю. Войдя, еще не закрыв за собой дверь, вместе с запахом тлена я ощутил дразнящий аромат той властной романтики, которая ведома мальчишкам всех времен. Пересеченные кривыми пунктирами, голубели на стенах морские карты, на столе и этажерке громоздились груды книг и необычных безделушек, тускло блесст медью старый судовой

компас. Всеми цветами перламутра играли раковины, похожие на осколки радуги, в углу темнела старинная, в серебре, икона, а под ней Будда из пожелтевшей кости, зажмурившись, молитвенно складывал ладони. Кривой турецкий ятаган дразнил янтарной рукоятью, а японский веер, распахнутый над детской кроватью, где, вероятно, спала Оля, как будто колыхался. Кусок мира, чужого мне!

И только несколькими мгновениями позже я разглядел другие, простые и страшные подробности: белый эмалированный таз, испачканный кровью, рядом — куча окровавленных бинтов, бурые кровавые пятна на занавеске. На столе посреди комнаты блестела пустая консервная жестянка с этикеткой на непонятном мне языке, рядом с ней лежал складной матросский нож.

Пока я стоял и рассматривал это необычное жилье, занавеска, прикрывавшая нишу, зашевелилась; жилистая, поросшая черными волосами рука откинула ткань в сторону. Глухой и больной голос спросил:

— Ну что там, Ольга?

Жестяков с усилием повернул голову, и я увидел его воспаленное лицо. На нем очень глубоко горели глаза, показавшиеся мне сначала бессмысленными, на запавших щеках торчала давно не бритая грязно-седая щетина. Капитан долго и неподвижно всматривался в меня с таким выражением, словно я был не человек, а привидение. И вдруг его лицо свернула на сторону мучительная гримаса. Гнев, страх, нетерпение, ненависть — все было в ней.

— Зачем ты привела этого мерзавца? — хрипло спросил он, приподнимаясь на локте и шаря под подушкой.

Я невольно попятился, схватился за скобу двери: уж очень было бы глупо умереть так. Но Оля заслонила меня.

— Папочка, успокойся. У него — бинты. Он, наверно, поможет. — Она осторожно взяла из вдруг ослабевшей руки отца маленький черный пистолет, положила на стол и тихо сказала мне: — Не бойтесь... там нет пуль...

— А-а-а! — Скрипнув зубами, капитан откинулся на подушку, рука его выпустила занавеску, по которой летали синие птицы и плыли под тугими парусами синие корабли.



Оля постояла перед занавеской, ожидая. И ткань снова отлетела в сторону.

— К черту! — закричал Жестяков, глядя на меня воспаленными, дрожащими от ненависти глазами. — К черту! Добивать пришел, палачья твоя душа? Мало вам, что всю Россию в крови потопили? Да?

— Красная Армия не добивает раненых, — сказал я.

Я понял, что передо мной один из тех, кому не удалось при эвакуации бежать из города. Мне захотелось повернуться и уйти: дьявол с ними, с этими недобитками, пусть подышают, как знают, пусть хотя бы такой ценой заплатят за несчастья, которые принесли народу. Я вспомнил колодец в Строгановке, набитый телами связанных пленных, оскаленные зубы обугленных трупов в имении Фальцвейнов, полторы тысячи гробов, которые пронесли наши бойцы по улицам Харькова после отступления белых. Это хоронили только замученных в контрразведке.

До боли стиснув челюсти, я повернулся и пошел к двери. Но у самого порога меня догнала Оля. С силой отчаяния вцепилась в мое плечо и, оглядываясь на снова неподвижную занавеску, заговорила сбивчивым, горячим шепотом:

— Не уходите... Вы добрый... Я боюсь одна... У него ноги... Вы посмотрите... Я прошу, посмотрите...

Почему я не ушел тогда — не знаю. Стараясь унять внезапную дрожь рук, я снова вернулся за Олей к постели белогвардейца. Он в упор смотрел на меня синеватыми, налитыми предсмертной тоской глазами.

Оля осторожно приподняла испачканную кровью простыню, прикрывавшую ноги Жестякова. Там я увидел кучку залитых кровью тряпок, даже не бинтов, а лоскутьев — обрывки платья, полотенца, полосы, вырванные из затканной золотыми розами скатерти.

— Ну, что уставился?! — истерически закричал Жестяков, весь дрожа. — Гангрены никогда не видел, дурак?! — И неожиданно заплакал, до крови закусив губу, заплакал злыми слезами бессильной ненависти. Если бы он был в состоянии дотянуться, он, наверное, попытался бы укунить, ударить, задушить меня. Но сил у него уже не было...

## СМЕРТЬ КАПИТАНА ЖЕСТЯКОВА

Немного позже из рассказов Оли и из нескольких сохранившихся документов я узнал некоторые подробности о жизни Жестякова. Всю гражданскую войну он воевал против нас. «Жемчужина», небольшая каботажная посудина, которой он командовал, в последнее время принимала участие в высадке десанта генералов Улагая и Черепова. Осенью 1920 года Врангель бросил этот десант в Приморско-Ахтырскую и Новороссийск, надеясь через Кубань и Дон прорваться в тылы Красной Армии. В одной из последних высадок лафетом скользнувшего по палубе орудия Жестякову раздробило ноги. Врача на «Жемчужине» не было, а высадить себя на вражеский берег Жестяков команде не разрешил.

Обычно, когда отец уходил в плавание, Оля, наследуя тысячелетний опыт жен и дочерей моряков, терпеливо ждала его. Из окон и с террасы был хорошо виден вход в бухту, и, вооружившись биноклем, девочка с утра до вечера рассматривала входившие в бухту суда, хотя и без бинокля за несколько километров узнавала «Жемчужину», которая была для нее вторым домом.

И вот, уже после штурма Перекопа, когда Оля увидела входившую в бухту «Жемчужину», она, как всегда, опрометью бросилась вниз, к причалам, встречать отца. Но вместо того, чтобы подойти к причальной стенке, «Жемчужина» остановилась посреди бухты: на пассажирских и на грузовых причалах бесновались орды обезумевших людей. Ведь в те дни около ста тысяч человек только через Севастополь покинуло берега России, большинство с тем, чтобы никогда больше не ступить на родную землю. Ревностное участие в эвакуации Крыма принимал американский Красный Крест. Миноноски Антанты<sup>1</sup> без отдыха курсировали между Крымом и Константинополем, не успевая вывозить бегущих. В Севастополе десятки тысяч людей металась по набережным, ожидая спасительной, как им казалось, эвакуации. Для ускорения эвакуации американцы развернули на острове Поти промежуточный лагерь. Там был и госпиталь для раненых офицеров. Туда должен был бы попасть и Жестяков...

<sup>1</sup> Антанта — империалистический союз Англии, Франции и царской России.

Сейчас с тех дней прошло почти полвека, а здравый смысл до сих пор не устает возмущаться: что было тогда нужно американцам на нашей земле? Много позже, уже не помню где, я читал, что во время посадки врангелевцев на согнанные в Севастополь суда к Врангелю подошел глава американской военной миссии генерал Мак-Келли и, пожимая Черному барону<sup>1</sup> руку, с чувством сказал: «Я всегда был поклонником вашего дела и более чем когда бы то ни было являюсь им сегодня». Эвакуация проходила так стремительно, что семейства многих «дейтелей», занимавших высокие посты при «правителе юга России» Врангеле остались в Крыму, в том числе в Феодосии осталась семья начальника французской военной миссии полковника Бертрана. Сам Врангель удрал из Крыма на крейсере «Адмирал Корнилов».

...Оля сбежала вниз. Огромная, воющая, безумная, стреляющая толпа уже осаждала трап «Жемчужины»: военный катер, под угрозой расстрела, заставил команду подвести судно к причалу. Уже было известно, что в то утро части Красной Армии прорвали укрепления Турецкого вала на Перекопском перешейке и теперь неудержимой лавиной катились на юг, — бои шли уже возле Ишуни.

Еще до того как «Жемчужина» причалила, двое друзей Жестякова — кочегар и механик — свезли капитана в шлюпке на берег. И, когда Оля сбежала к причалу, отец полулежал на набережной, прислонившись спиной к чугунному кнехту, и с бессильным презрением смотрел на тех, рядом с кем сражался все эти годы. Отталкивая женщин и детей, размахивая оружием, бросались на abordаж «Жемчужины» офицеры Мамонтова и Улагая, Черепова и Краснова<sup>2</sup>, напуганные возможностью и неизбежностью расплаты...

Я сидел у постели Жестякова, и мне доставляли радость его злые, бессильные слезы. Он упорно смотрел в стену, и я видел, что ему стыдно и своих слез, и своего бессилия. Наконец нервные, с синими татуированными

---

<sup>1</sup> Черный барон — так называли в народе бывшего царского генерала барона Врангеля.

<sup>2</sup> Мамонтов, Улагай, Черепов, Краснов — царские генералы, лютые враги революции и советской власти.

якорями руки перестали беспокойно шарить по простыне и успокоились на груди.

— Ольга, — он вздохнул, облизал губы, — спустись к Хабибуле, попроси на сигарку.

Не ответив, Оля ушла. Стукнула дверь, сухо зашкрипели ступени. Жестяков продолжал смотреть в стену. Потом вздохнул еще раз и с болезненной улыбкой покоился на меня.

— Такой добрый татарин, из ваших, наверно, — сказал он, показав глазами в пол. — Привез меня с пристани, втащил сюда и радуется: «Ай-яй-яй, Николай Ваныч, плохая твоя дела, кончай, вышла твоя жизнь. Подари, говорит, сапоги новые, мертвому они тебе зачем?» — Опершись на локоть, Жестяков попытался приподняться, но ему, вероятно, было больно, он закусил губу и побледнел, прикрыв глаза. Но сейчас же открыл их и, преодолевая слабость и боль, продолжал: — Конiec мне, парень. Конiec. Ты своим там скажи... девчонка-то ведь не виновата... И вот что... Написал я письмо брату в Москву. Пойдут поезда, посади ее. Я заплачу, у меня часы золотые... Посади, а? Он не даст ей погибнуть... Конечно, и ему не очень-то сладкая будет жизнь, наверно, в Сибирь загоните!.. Ну, делать нечего... Вот оно, письмо. И часы держи.

Он достал из-под подушки испачканную кровью записку, протянул мне. Я положил часы на стол и прочитал:

«Брат Алешка! Погибаю глупо, бессмысленно, но упрекнуть себя ни в чем не могу. Жил, как верил, подлостей не совершал, за чужим не гнался. Остается Ольга, несмышленыш мой милый, единственная ценность, которую оставляю после себя на земле. Будь ей вместо меня. Николай.

Р. S. Помоги Крабу, если он доберется до тебя».

Я сидел рядом с кроватью и, глядя на дергающееся лицо Жестякова, чувствовал, как стихает охватившая меня ненависть. И не потому, что мне стало жалко его, нет, пусть сдыхает! — мне было жалко девчонку. Я вспомнил, что мне пришлось пережить, когда хоронили отца; чувство необычайного сиротства и одиночества, не утихающая ни ночью, ни днем боль в груди, — как будто в самое сердце вбит гвоздь. То же предстояло пережить и ей, даже, пожалуй, тяжелее: ведь как-никак я чувствовал

себя парнем, почти мужчиной, и рядом со мной были тогда и мама и Подсолнышка.

За дверью заскрипели ступеньки, в дверь пахнуло ветром и морем.

— Хабибула опять про сапоги спрашивал, — сказала Оля.

Разжав загорелый кулачок, высыпала на кусок газеты щепоть крупно покрошенного табаку-самосаду.

Пока Жестяков трясущимися руками сворачивал папиросу, я взял со стола обрывки газеты — это был издававшийся при Врангеле листок, кажется, «Голос России». Я разобрал несколько строк:

«Русская армия идет освобождать от красной нечисти родную землю... Да благословит нас бог... Слушайте, русские люди, за что мы боремся... За освобождение русского народа от ига коммунизма... за то, чтобы истинная свобода и право царили на Руси... Помогите мне, русские люди, спасти родину... генерал Врангель...»

— Иди скажи: пусть приносит ведро картошки и забирает сапоги, живоглот вшивый! Сапоги мне теперь, дочунь, долго не понадобятся, а картошка в парадном мундире — это вещь! Правда?

— Ты все шутишь, папа.

— А что же? Плакать? До этого еще не дошло! Да не забудь: конское ведро! Конское, широкое такое!.. Тебе на неделю хватит.

Оля ушла снова. Обжигая губы, Жестяков докурил сигарку.

— Ну вот, полегчало немного... — Он пристально и недоуменно посмотрел на меня, словно вспоминая, как я очутился в его доме, что мне надо. И, вспомнив, усмехнулся с прежней ненавистью. — Ну что же, парень... Иди доноси... Скажи, капитан «Жемчужины». Они знают... Да, слушай! Что вы сделали с этой Фанни Ройд? А? Четвертовали? Сожгли на костре? Кишки по стенам развесили? А?

Глаза Жестякова блестели почти безумно.

— Какая Фанни Ройд? — спросил я, вставая.

— Ну вот, в Ленина вашего стреляла. Ну, Каплан! Не смогла, идиотка! Нашли кого посылать! А! И пули как следует отравить не сумели! Идиоты! Надо было посы-

лать, чтобы без промаха. Вон как Урицкого в Питере хлопнули. Мужика посылать на такие дела! Идиоты!

Я стоял рядом с постелью этого подыхающего врага, и все внутри у меня дрожало от ненависти. Ленин, Ильич — имя, самое святое для меня и окружавших меня людей. Но что я мог ответить? Ударить умирающего? Плюнуть?

Я не сделал ни того, ни другого. До боли стиснув кулаки и зубы, пошел к двери.

На террасе постоял, успокаиваясь. Море неслышно плескалось под кручей, белые домики на Корабельной белели, как куски рафинада. В бухту входил небольшой черный пароходик, кажется, мирный тральщик. Еще утром, в порту, я слышал разговор о немецких минах — то и дело они встречались у наших берегов.

Снизу, робко поглядывая на меня, поднималась Оля, на лбу у нее прорезались тоненькие морщинки, делая ее похожей на маленькую старушку.

— Вы поможете достать бинты? — шепотом спросила она, глядя на меня снизу вверх, и несмело, виновато улыбнулась. — А я думала, что красноармейцы все страшные. Бородатые, и руки в крови... — Мельком она взглянула на мои руки.

— Сами вы бородатые! — крикнул я и, шагая через две-три ступеньки, ушел, давая себе слово, что никогда ничто не заставит меня еще раз переступить порог этого дома...

И все же я рассказал о Жестякове Вандышеву.

Вечером капитана отвезли в больницу на Нахимовской улице, а еще через день он умер от общего заражения крови. Узнав это, я опять пошел к Оле.

Шагая по пыльным осенним улицам навстречу холодному стеклянному ветру, я ни о чем не думал, просто что-то необъяснимое мешало мне бросить эту беспомощную девчонку.

Норд-ост дул резкими, режущими порывами, гоня по улицам кованные из ржавой жести листья. Даже в бухте море перекашивалось тяжелыми чугунными волнами, покрытыми пеной. У товарных причалов швартовался пришедший из Одессы пароход.

Когда я пришел к Жестяковым, Оля сидела у окна и, положив на колени руки, беззвучно плакала. Хабибула, кряжистый, чуть сутуловатый, с редкими черными усиками и светлыми острыми глазами, ходил по комнате и ощупывал вещи. Лицо у него выражало неодобрение: слишком многие вещи в жилище Жестяковых в те трудные годы не имели смысла, не имели цены. Ну кому мог понадобиться тогда костяной Будда или японский веер, причудливо изогнутые морские раковины или обломки кораллов? За все это, сваленное в кучу, на рынке не дали бы и двух печеных картошек.

Мне хотелось выгнать татарина: он напоминал мародера, обирающего на поле сражения еще не остывшие трупы. Но он был здесь хозяином. Я молча наблюдал за ним, за его пренебрежительными и в то же время хищными, оценивающими руками; он не обращал на меня внимания.

Я сел рядом с Олей, прикоснулся к ее руке. Она молча подняла заплаканное, мокрое от слез лицо, посмотрела с болью.

— Он умрет?

Я не ответил. Хабибула остановился возле и, почесывая затылок, спросил:

— А без ног зачим жить будит? Коляскам ездить? Христам ради просить? Тьфу! — Помолчал и, не дождавшись ответа, спросил: — Сам ты как теперь жить станешь? Такой маленький, каждый обидеть можна... Ты смотри, разный вещь никому не давай... Рынка возить будем...

Косо оглядев меня, потоптался еще немного и ушел. Оля молча присела на корточки возле печурки, достала котелок с картошкой. Слив воду, бережно завернула несколько картошек в платок.

— Это ему... Вы его не кормите, наверно?.. Он же за белых.

— Ему больше не надо, — сказал я.

— Как — не надо?! — Она посмотрела на меня безумными, какими-то тающими глазами и, бросив узелок, зажав руками рот, выбежала.

Я пошел следом; ожидая ее, посидел у ворот больницы, глядя сквозь голые ветви тополей на море. Горизонт

за башнями был пустынен и холоден, свинцовая пелена туч нависала над ним.

Мне было необъяснимо печально, радость недавней победы потускнела, остыла. Я думал о своей матери, которая лежала, может быть, в таком же вот больничном здании далеко отсюда. Жива ли?

Раньше мне казалось: достаточно победить, выгнать с нашей земли последних врагов, и сразу настанет сытая и беспечальная жизнь — праздник. А на деле все складывалось иначе, те же очереди за маленькой пайкой хлеба, та же жиденькая чечевичная похлебка, или «шрапнель», то же непроходящее ощущение голода. Моя мальчишеская вера в непреклонную справедливость всего, что связано с Революцией, держала в те дни суровый экзамен; отгремели праздничные митинги, похоронили павших, и почему-то еще виднее стали не заслоненные войной нужда и разруха. Голодные, оборванные детишки бродили по улицам, утерав, казалось, навсегда радость жизни, глядя погасшими, старческими глазами.

Оля вышла из ворот и села рядом со мной. Глаза у нее были сухие. Лицо ее за эти полчаса стало старше лет на десять, — она выглядела женщиной, прожившей долгую жизнь и видевшей много горя.

— Это что такое — морг? — спросила она.

— Морг... ну это, как тебе сказать... ну комната такая...

— А зачем?

Я боялся, что, узнав правду, она будет беспрестанно плакать и мне придется утешать ее, а какими словами мог я утешить? Но, к моему удивлению, она не плакала ни в тот день, ни на следующий, когда хоронили капитана; она застыла, окаменела.

За капитанский костюм Жестякова Хабибула сколотил из старых, почерневших досок узенький гроб и отвез тело на кладбище. Он шагал рядом со своим коньком, помахивая кнутом, равнодушно поглядывая в небо, откуда сорилась на землю холодная снежная пыль. Мы с Олей шли позади телеги, и я спрашивал себя: что же теперь с ней будет? Письмо Жестякова в Москву, которое мы нашли под его подушкой, лежало у меня в кармане...



## НОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Поздно вечером мы с Вандышевым сидели в порту на крыльце комендатуры. В нескольких метрах от нас в синеватой тьме вздыхало утихшее, засыпающее море. Солнце давно село, но за темным зубчатым гребнем Корабельной стороны еще кровавилась закатная, тающая с каждой секундой полоса.

Вандышев, кутаясь в бушлат, молча курил. Тлеющий огонек папиросы освещал на его руке синий татуированный якорек, совсем такой же, как был у Жестякова. Позади нас иногда распахивалась дверь, и желтый четырехугольник света, ломаясь на неровностях каменных плит, опрокидывался на землю.

Потом Вандышев рассказывал, как прошел день. Оказывается, далеко не все беляки сумели уйти из города, сейчас они делали последние подлости, какие могли. В Севастополе, и в порту и в районе вокзала, остались склады боеприпасов и оружия, продуктов, обмундирования, медикаментов — все, что врангелевцы не успели израсходовать, вывезти или уничтожить, а запасено оказалось немало: ведь в течение многих месяцев именно в южных портах России разгружались суда, посланные Деникину и Врангелю Антантой. Часть продуктов и медикаментов отступавшие все же сумели испортить и сжечь, часть в дни эвакуации разграбило население. А теперь по ночам кто-то пытался поджечь военные склады, видимо все еще не считая войну окончательно проигранной; один из складов, на Большой Балаклавской, взорвался и сгорел, как костер, погибло шесть человек. По ночам убивали часовых и патрульных, и где-то в Аккермановских каменоломнях прятались банды, вооруженные бомбами и пулеметами.

Вандышев говорил коротко, устало и зло и курил почти беспрерывно.

Я, в свою очередь, рассказал ему о Жестякове, о его последних словах, о письме.

— Да, само собой, девчонка пока не виновата, — согласился Вандышев. — Но ведь, Данилка, может, как раз из таких волчат и вырастают Капланихи. — Широко размахнувшись, швырнул в сторону моря окурки, паду-

чей звездой он прочертил темноту и погас за парапетом. — Дать в тот день волю народу, от этой твари мокрого места не осталось бы! — сердито буркнул Вандышев и сочно, по-матросски выругался. Снова достал кисет и зашуршал бумагой. — На кого руку подняла! А? Ильич всю свою святую жизнь за трудовой народ на костер кладет, а она... — И опять длинно выругался и скрипнул зубами. — Так бы я тогда сам ее и удавил... Как гадюка бешеная. Глазищи пышут, словно вся черным огнем изнутри взялась... Голову руками зажмет да об стенку ее, об стенку: «Как же я не убила, как?!» И все курить просила...

— Ты видел ее, дядя Сергей?

— Я тогда в охране в Кремле был. А комендантом стоял тоже балтиец, с крейсера «Диана», Мальков Павел... Раньше-то, еще в Смольном, в Питере, нас, матросни, человек пятьсот возле революционного комитета было; как сошли с кораблей на штурм, так и остались. Ну и этот Мальков тоже. Он и в Смольном с самого начала — комендантом. Парень решительный, как черт. Ну и сила тоже чертячья, шомпола в узлы завязывал. Вот он, дня через три, что ли, после как Ильича поранили, вызывает меня и еще двух: «Поехали». Куда, чего — не спрашиваем, знаем, ежели с ним, значит, серьезно... Сам-то Пашка вовсе с лица черный тогда стал... да и все мы ни живые ни мертвые ходили: как Ильич? Пули-то ядовитые, травленные. Ну, поехали на Лубянку. Забрали мы эту змею в Кремль, заперли в подвал... Он, Павел, каждый час ходил, смотрел. Не то что боялся — убежит, боялся: как бы кто из нас не прикончил. Уж больно сердце у каждого тогда горело прямо до нестерпимости. А она, Капланиха-то, в дверь стучит да кричит: «Матросики, вас в обман тянут, в предательство. Покурить дайте, за народ страдаю...»

Вандышев замолчал, и я долго не решался спросить, что дальше. Прошло несколько минут. Становилось все холоднее.

— Ну, а дальше, дядя Сергей?

— Ну, известно что... Раньше-то мы им всякую поблажку от смерти давали, сколько ни пакости — живи дальше, нет у нас на вас ни веревки, ни пули... А тут в

один день: утром в Питере Урицкого<sup>1</sup> жизни решили, а вечером в Москве Ильича хотели... Какой может быть наш ответ? Один: резать нечисть под самый корень, рвать ее из нашей земли...

И снова молчали. Небо совсем потемнело, полоска зари на западе погасла. И моря не стало слышно...

— Еще помню, — сказал Вандышев негромко, — в том же восемнадцатом, в самом начале, зимой, выступал Владимир Ильич в Питере, в Михайловском манеже. Кончился митинг — народ от всего сердца шумит. Вышел Ильич, в машину сел, а тут из толпы — стрельба. В него. Хорошо, случился рядом коммунист заграничный, по фамилии Платтен, он Ильича собой прикрыл... Его, Платтена, и ранило... — Вандышев потер ладонями затекшие колени. — Н-да... Вся мировая буржуазия ненавидит, если кто за народ. Попадись белякам ты и я — тоже милости не проси: либо петля, либо живьем в землю.

Сзади в дверь хриплый голос позвал:

— Вандышев! Будя небо коптить! Чай стынет!

— И то! — отозвался Вандышев, вставая. — Пойдем, Данил, пополощем кишки горяченьким... Зябко стало.

В уютном, давно не беленном помещении комендатуры несколько человек пили из жестяных кружек чай с американскими галетами и сахарином, забеливали сгущенным молоком. Взорванная врангелевцами электростанция не работала; помещение освещала воткнутая в пустую бутылку стеариновая свеча. Потухала в углу железная печурка, отблески пламени, падающие из ее дверцы, дрожали на бетонном полу. В ведерном жестяном чайнике на печке горячо klokотала вода.

Напившись, отодвинув кружку, Вандышев закурил и повернулся ко мне:

— А ну-ка, покажи письмо...

Я достал записку Жестякова, отдал. Вандышев взял ее двумя пальцами и, развернув, прочитал.

— Н-да... Надо бы и этих его сродничков в Москве пощупать. Может, и сроднички вроде его, к Ленину нена-

<sup>1</sup> Урицкий Моисей Самойлович (1873—1918) — председатель Петроградской Чрезвычайной Комиссии. Убит эсерами 30 августа 1918 года.

вистные. Теперь эта контра в каждом темном углу хорошится, ждет, когда укусить можно...

Старый боцман с «Меркурия», заросший рыжей проволокой, обожженный ветром и солнцем, запрокинув голову, пустил к потолку густую струю дыма.

— Очень даже просто. Сколько лет они нашей кровью жирели... Вот помню...

И потекли один за другим бесконечные солдатские и мужицкие рассказы о мытарствах и унижениях, о бесправии и беззаконии, о запоротых насмерть, о расстрелянных и повешенных, об умерших от голода и тифа, о вековой и, казалось, безысходной нужде.

В моей памяти эти рассказы воскрешали картины моего собственного детства, словно все, что рассказывали, сменяя друг друга, солдаты и матросы, было частью моей собственной жизни.

— Ну, чего рассопливились, братва? — прервал наконец поток воспоминаний Вандышев. — Теперь наше дело гордое, вперед глядеть надо. Пошли спать, Данька.

Легли мы с дядей Сергеем рядом. В соседней с комендатурой комнате было брошено на пол несколько матрацев, взятых из врангелевского цейхгауза. Здесь вповалку спали по ночам работники, порта, у кого не было в Севастополе своего жилья.

Заснул я поздно. Чужие воспоминания вернули и мою память к прошлому, я снова ощущал у себя на голове шершавую ладонь отца, мягкие добрые губы матери, худенькую ручонку сестры.

И вся моя ночь была полна тяжелыми, пугающими снами, где самая неправдоподобная правда перемежалась с неправдой, похожей на правду. Снова я волок на разостланной шинели истекающего кровью Костю Рагулина, гонял голубей и хоронил маленькую Подсолнышку, снова сидел вместе с другими пленниками в горящем амбаре, и туда входил Жестяков, с трудом переставляя негнущиеся, замотанные окровавленными тряпками ноги. И то и дело мелькало худое лицо Оли, оно двоилось, казалось мне то лицом Оли Беженки — и тогда снова пылал мост и пропитой бас истошно орал: «Пушай горит, сука!» — то лицом Оли Жестяковой, измученным не по годам и скорбным, как у иконы...

В те дни я уже работал, но не на корабле, как мне хотелось, а в составе одной из комендантских команд. Работа у нас была самая разная. То мы ремонтировали что-нибудь в судоремонтных мастерских, то участвовали в почных облавах, то хоронили мертвых, то сортировали оставшееся от белых барахло, то чинили на станции вагоны и подъездные пути.

К вечеру, на следующий день, поев в столовой, спрятав в карман шинели пару галет, я пошел к Оле. Сумерки медленно текли по улицам и переулкам, бухту застилало туманом. Сквозь него едва пробивались редкие огоньки. По-зимнему низкое небо давило землю, и музыка, что неслась из недавно открытого «Дома моряка», казалась нездешней, словно доносилась с луны.

В окошках у Хабибулы горел свет, я невольно задержался возле окон и долго стоял, глядя на кусок чужой жизни. Пять малышей сидели за столом и ели суп, черпая ложками из большой деревянной миски; у печки возилась немолодая, но еще красивая женщина с черными косами. Сам Хабибула сидел на низеньком стульчике и чинил хомут. Изредка поднимая голову, что-то говорил женщине у печки, — слов расслышать было нельзя.

Я посмотрел вверх — в окна Жестяковых было темно. Я осторожно поднялся по лестнице, набухшие от влаги ступени теперь не скрипели. На террасе я постоял, прислушиваясь, глядя вниз, в туманную тьму, в глубине которой, колыша над собой мрак, дышало и вздымалось море. Казалось, что стоишь над пропастью, у которой нет дна.

Когда я поднимался по лестнице, мне почудилось, что за Олиной дверью сердито бубнит какой-то мужской голос, но теперь в квартире стало совершенно тихо. Я долго стоял — ни шороха, ни звука. Постучал, позвал:

— Оля!

И тогда дверь неожиданно распахнулась и ударила меня в грудь. В тот же момент черная огромная тень шарахнулась из темноты квартиры, с силой толкнула меня, я отлетел к перилам и упал. Загрохотали под каблуками ступеньки лестницы, потом булыжник, и, наконец, стремительно убегающие шаги затихли. Внизу во дворе, звеня цепью, остервенело лаяла собака.

В черном четырехугольнике двери появилось светлое пятно Олиного платья, голос ее испуганно спросил:

— Здесь кто?

Потирая ушибленное плечо, я встал, в глазах у меня плясали огненные круги. Спросил:

— Там больше никого нет?

— Никого.

— А кто был?

Она помолчала, потом ответила неуверенно и чуть слышно:

— Не знаю. Он папу спрашивал. Искал...

Я подошел к Оле вплотную и, даже не прикасаясь к ней, почувствовал, как она дрожала.

— А он не вернется?

— Не знаю.

В кармане у меня лежал пистолет Жестякова, я стискивал его запотевшую в ладони рукоятку, хотя и понимал полную бесполезность незаряженного оружия.

— Иди. Холодно, — сказала Оля и, взяв меня за руку, потянула за собой. — Мне страшно одной. Мне все кажется, что кто-то лежит...

Внизу во дворе Хабибулы заскрежетала петлями дверь, в четырехугольнике света появилась фигура хозяина. Подняв голову, он закричал:

— Ей, Олька! Кто лестницам сейчас бегал?

— Кошка... — помедлив, ответила Оля.

— Бульна большой кошка... Смотри, приду, глядеть эта кошка буду. Палкам здоровый биру, палкам гляжу...

Но лезть вверх Хабибуле, видимо, не хотелось, он почесал под рубашкой грудь, сладко зевнул, успокоил рвавшуюся с цепи собаку:

— Куш, Шайтан, куш... Ашать тебе нада, черт? У, прожора... — и хлопнул дверью.

Мы вошли в Олину комнату. Тихо, пусто, едва заметно синели квадраты окон.

— Сейчас печку затоплю, будет светло, — сказала Оля.

Я ощупью отыскал стул и сел, следя в темноте за смутным светлым пятном Олиного платья; она неслышно двигалась, стучала какими-то деревяшками, шуршала бумагой.

— Чем топишь? — спросил я. — Книгами, что ли?

— Табуретка...

Когда в жестяной пасти печурки за клубилось веселое пламя, я увидел разбросанные по полу, сброшенные с полок книги, письма, бумаги, фотографии.

— Он что-то искал, — объяснила Оля, заметив мой взгляд. — Я не хотела. Он на меня кричал...

Мне подумалось: «Что, какие документы искал неизвестный в вещах покойного капитана? Зачем? Что в них, в этих документах? Может быть, они имеют какое-то отношение к «Крабу»? А может быть, это он и был?»

...Вот эти неожиданные встречи в Севастополе и повернули мою дальнейшую жизнь иначе, чем я предполагал. Я хотел остаться у моря, хотел стать матросом, а потом капитаном дальнего плавания, бросить корабельные сходни на синий лед Антарктиды, пожить под сказочными радугами северного сияния... Но все вышло иначе.

Когда я рассказал Вандышеву о ночной встрече у Жестяковых, он задумался и снова долго вчитывался в те несколько слов, что нацарапал перед смертью капитан.

— Нечистое здесь, Данил, дело. Какую-нибудь пакость удумают.

Следующую ночь, спрятавшись у дома Хабибулы, мы караулили, ожидая, что вот-вот в темноте послышится шорох крадущихся шагов, мелькнет беззвучная тень, блеснет свет карманного фонаря. Но — ничего: ни шороха, ни тени, ни звука.

И вот тогда-то Вандышев и сказал мне:

— Вот что, Данил. Поговорил я кое с кем, и решили мы так. Особо околачиваться тебе здесь нечего. Матросов да грузчиков и без тебя наберем. Парень ты молодой, и голова у тебя варит. Надо тебе подаваться на учебу. Спецы старые саботируют без конца, никакой управы на них нету. Нужны нам свои красные специалисты. Об этом и Ильич сколько раз говорил. Так вот, ежели поехать тебе в Москву? А? Там и рабфаки разные, и вообще...

У меня прямо дух захватило от этих слов. Москва? В моих мечтах она рисовалась светлым центром мира, и

я подумать не смел, что могу когда-нибудь жить и учиться в ней.

А Вандышев продолжал:

— Это — первое. А второе, дорогой мой, это жестяковское нам с тобой наследство. Девчонка эта, конечно, не в счет. Можно сразу тут же в детдом определить, не умрет с голоду, не дадим. Но интересно ведь: что это за птица, «Краб» этот самый? Я-то здесь вокруг этого змеиногo гнезда пошурую. А нет ли там, аккурат под боком у Ильича, еще какой-нибудь подлости? Я тебе тоже письмо дам, есть там дружок у меня, Роман Корожда зовут. Вместе на крейсере медяшки драили. А на штурме, когда Зимний у беляков отбивали, руку ему один юнкеришка повредил. Теперь он там всякую контру к ногтю берет в особом отряде — ежели, конечно, не уступали.

Вандышев обнял меня сильной рукой за плечи,дохнул в лицо табачным дымом.

— Только знаешь чего, Данилка? Жалко ведь мне с тобой расставаться: прикипел я к тебе сердцем. То ли своих у меня нету, то ли еще что... Ну ведь надо и тебе на фарватер выбиваться. А? Подумаешь, скажи...

— А чего же думать, дядя Сергей?

— Ну ладно, — засмеялся Вандышев, доставая кiset. — Я так и знал. И как это ты и в тюрьме сидел, и воевал, а курить не научился? Чудное дело! Первое дело для мужика — табачок. Да чтобы позлее, чтобы душу царапало...

## ДОРОГА

Теперь, когда я вспоминаю то свое первое путешествие в Москву, оно кажется мне очень длинным, — такое оно было долгое и тяжелое. Никаких прямых поездов до Москвы тогда не было и, конечно, не могло быть, прямоком шли только эшелоны с продуктами для голодающих городов центра, для Москвы и Питера.

Многие мосты, поврежденные во время боев, еще не были восстановлены, и тогда мы прямо по льду перебирались с одного берега на другой и шли по шпалам до следующей станции, где через два-три дня снова с боем



и трудом забирались в промерзшие, покрытые изморозью теплушки или в пассажирские вагоны с выбитыми окнами. Ехали демобилизованные красноармейцы, ехали мешочники с солью (соль тогда в Москве и на Поволжье стоила чуть ли не сто тысяч рублей фунт), ехало множество людей в поисках лучшей доли, спасаясь от голодной смерти. Умирали в вагонах и на больших станциях, замерзшие тела вытаскивали на перрон и уносили в какой-нибудь пристанционный сарайчик, чтобы затем, попозже, похоронить. В некоторых местах и пути были разрушены. Это во время боев помогали белым жители зажиточных немецких селений. Я вспоминал Мильглузендорф, Шлингендорф и другие такие же села на берегу Днепра, сквозь которые мы несколько месяцев назад прошли. Кулаки сгоняли в большой табун волов, лошадей и коров и, развинтив в двух местах рельсы, зацепляли их веревками или цепями и впряженным в эту часть пути стадом оттаскивали рельсы на несколько километров в сторону. Отремонтировать такие пути без машин и тягла было трудно, тем более зимой.

У нас с Олей было немного сухарей, несколько банок консервов из того запаса, что выдали мне на дорогу, да чемодан с ее вещами, которые нам иногда удавалось обменять на лепешки или шматок сала. К счастью, нам почти всегда помогали сесть в теплушку, где стояла железная печка. На станциях пассажиры теплушки выскакивали и ломали остатки каких-то строений, ломали, прячась от станционных служителей, заборы и крали припасенные для паровозов дрова. Кипятку почти нигде не было, на многих станциях водокачки были разрушены, приходилось набирать в котелки и таять снег.

Но все это не могло заглушить моего радостного, приподнятого чувства: я ехал в Москву, мы победили. Я не представлял себе тогда, что и Москва в конце двадцатого года находилась в крайне бедственном положении, что в ней не было ни хлеба, ни дров, что она стояла, закопанная в броню льда и снега, заметенная сугробами, по ночам едва освещенная, с остановившимся, замерзающим дыханием.

Правда, когда мы проехали разоренные последними боями гражданской войны места, уже за Харьковом, ста-

ло лучше: здесь на некоторых станциях был кипяток, больше порядка. Но почти на всех узловых станциях по вагонам ходили санитарные противотифозные комиссии и при малейшем подозрении на тиф без всяких поблажек, несмотря на сопротивление, снимали с поезда, отправляли в санприемники и больницы. И на стенах и заборах висели плакаты: «Что ты сделал для фронта?»

Красноармейцы, воодушевленные победой, несмотря на холод и трудности пути, без конца пели, то в одном, то в другом вагоне гремела «Варшавянка», или «Смело, товарищи, в ногу», или широкие раздольные русские и украинские песни. Мешочники жались по углам, боясь за свое добро, нередко при облавах кое-кого из них ссаживали с поезда. Они кричали, и плакали, и божились, что везут для себя, для своих детей, умирающих от голода, но иногда достаточно было одного взгляда на сытую физиономию, чтобы понять, что это просто-напросто спекулянты.

Перед отъездом я достал Оле солдатскую телогрейку, она надела ее под пальто, но, несмотря на это, мерзла и куталась почти всю дорогу, даже тогда, когда мы ехали в тепле. Она молчала, я редко-редко мог заставить ее сказать несколько слов. Она боялась дороги, боялась Москвы, боялась неизвестного ей дяди, к которому ехала.

— Если будет плохо, — говорил ей я, — тебя устроят в детский дом, теперь много бездомных детей, их устраивают в приюты, там будешь жить и учиться, и все будет хорошо.

Она слушала и молчала.

Нередко кто-нибудь из красноармейцев подсаживался к ней, заговаривал, кормил ее чем-нибудь из своего скудного по тому времени солдатского пайка. Она сначала на всех глядела со страхом и забивалась в темные углы, с тревогой и просьбой о помощи оглядываясь на меня. Но большинство красноармейцев, особенно пожилых, жалели ее, видя в ней своих, может быть, вот таких же измученных и худых детишек, их глаза светились той берущей за сердце лаской, которая рождается только в очень тяжелых условиях, где слабому без такой душевной поддержки почти невозможно прожить.

Помню, где-то под Харьковом солдаты втащили в наш вагон полузамерзшего на перроне старика, лохматого, почти потерявшего человеческий облик, оттирали снегом его обмороженные ноги, и он плакал, словно ребенок, так ему было больно.

— Терпи, папаша, терпи, ежели еще плясать хочешь, — смеялись солдаты.

Потом напоили старика кипятком с солью, и он все пил, обжигаясь, и умилялся: до чего же сладкая она, соль...

Он ехал с нами долго, почти до самой Москвы, и все подсаживался к Оле, глядел на нее слезящимися глазами.

— Вот у меня внученька такая же, ровно свечечка, все как есть скрозь нее видать... Перед тем как уехать мне, все просила: сладенького хочу, деда, сольцы бы... Вот везу ей карман цельный... Жива ли? Ну, совсем как ты с личика...

Оля подружилась с ним, он негромко рассказывал ей о своей жизни.

— Отца-то у нее, сына, значит, моего, — Фаддеем звали — белые затиранили. Как, значит, Деникин Орел занял, тут и пошла катавасия... Фаддей-то не успел со своими уйтить, тут его смертушка и пристигла. И день, вот как сейчас помню, такой радостный, такой солнечный был, ну пасха и пасха. Неужели, думаю, и убьют его при этаким-то солнышке? А им што? Ты, зачем, спрашивают, такой-разэтакой, землю чужую пахал? Зачем делил? Земли тебе? Ну вот тебе и земля... Закопали его по шейку в землю и сидели округ, пока не помер, в лицо плевали...

Самым, пожалуй, ярким, самым отчетливым, что мне запомнилось в этом нашем долгом путешествии, были севшие где-то на Орловщине мужики — трое. В тот день наша теплушка была набита до того, что сидеть и то приходилось по очереди, а уж спать — где там. И вот на каком-то полустанке, в разгар метели, когда кто-то из красноармейцев выпрыгнул за нуждой, эти трое и подошли к вагону. Один, самый старый, снял шапку, попросил:

— Не дайте сгибнуть, милые, посадите...

— Да куда же сажать, деда? Гляди-ка тут что!

— Так ведь, милые... От мира мы, к Ленину в Москву идем... дело самой неотложности...

— К Ленину? — переспросили из вагона.

И сразу стало тихо.

— А ну-ка, деда, давай руку.

Так эти трое ходоков и оказались в нашем вагоне. Конечно, рассказывая теперь о тех давних встречах, я, вероятно, привожу не все дословно так, как оно было сказано: это просто невозможно. Но я отчетливо помню смысл и интонации сказанного, отдельные слова и фразы. Для меня эти встречи в пути оказались запоминающимися еще и потому, что они постепенно вводили меня в новый мир.

Ходоков усадили около печки, они согрелись, развязали свои кушаки, распахнули полушубки. Все трое были одеты бедно, все на них изношенное до дыр, в заплатках, на ногах лапти.

— Ну как, деды, с озимыми? Отсеялись? — спросил кто-то и вздохнул. — Ух, до чего же пахать охота, аж ладони горят...

— Отсеялись, да не все... — отозвался тот, что был старше, с кудельной седоватой бородой, закрывавшей ему шею и грудь. — Кулаки — те, известное дело, отсеялись, да и то не в пример прошлым годам, только что на свои животы, на свой прокорм... «Что нам, говорят, советскую власть да большевиков кормить, пущай сами и пашут, ежели жрать охота...» Вот так-то, мила душа...

Кто-то протянул старику кисет и кусок бумаги:

— Кури, деда.

Он отрицательно покачал головой:

— Не набалованы, мила душа... — Было в лице его что-то от Льва Толстого: высокий, избитый глубокими морщинами лоб, запавшие, острые синеватые глаза под седым навесом бровей. — Не набалованы, — повторил он и оглянулся на одного из своих попутчиков, однорукого тщедушного мужичка с рыженьким клинышком бородки и озорными, хотя и потускневшими глазами. — Хоша вот Митрий балует, на фронте выучился на германской... Кури, Митрий, все одно дыму тут — не передохнуть...

— А ты, деда, слезай, ежели душно... Пешочком-то воздух — чистый янтарь, — пошутил кто-то.

Но старик посмотрел сурово, и шутник смолк.

— Мне, ежели хочешь, хоть плыть, а быть... Мир послал, наш мир, бедняцкий... Ежели, сказали, Тимофей Петров, не добьешься до самого Ленина, нет тебе в нашу деревню возврату...

— Да чего же вы к Ленину-то? — спросил солдат, сидевший за спиной старика. — Чай, сами знаете, ранетый он был, ему теперь бы покой да покой...

— Знаем, всё знаем, — кивнул старик. — И за раны его не меньше твоего боли приняли... А нет без его слова нам никакого решения! Вот ты скажи-ка, громкий... — Старик оглянулся на того, что сидел за его плечом. — Ты, к примеру, крестьянствовал?

— Не, мы рабочего сословия... кузнецы... плужок, скажем, вашему брату отковать или еще что — это наши мозоли...

— Вот то-то... Тебе урожай не урожай — тебе одна стынь-жара... А вот я или вот он, Митрий... Нам знать надо, как же теперь дальше жить... Ну, помещиков прогнали, земля теперь есть. За всю осень я на себе, на старухе да на снохе вдовой два осьминника вспахал... А сеять опять же чем, когда у меня с прошлого лета ни зерна нету? А? Опять я — на поклон к Савве Лукичу: дай до новины. «Ну-к што, говорит, возьми, Тимофей». Насыпал меру. «С урожаем, говорит, две вернешь». Не взять? А сеять как же? Ну взял, ржица тощенькая, голодного году... Стало быть, опять мне кабала... Так? Опять он силу забирает, Савва-то. И закону на него нету, никакой управы... Доброе, дескать, дело творю... Ну ишо у попа сохранилось зерно. Так тот и вовсе не по-божьему: три меры за меру... пастырь божий... Наши-то сельсоветчики только руками разводят... А тут весна скоро, яровой клин пахать... Опять, стало быть, старуху да сноху запрягать, либо у того же Саввы коняшку просить? А он что, даром?

И опять старик оглянулся на кузнеца.

— Твое дело, мила душа, простое, постучал молотком, тут тебе и хлебушек... А ить его растить надо, за ним, как за дитем, ходить требуется... Ну и скажи, вдруг

снова немилость божья — снова от колоса до колоса не слышать голоса?.. Чего я тогда Савве отдавать стану? Стало быть, опять я в батраки к нему... да еще в темные батраки, в тайные, потому он все же опасается, вдруг его власть как помещика признает, к ногтю возьмет? А? Нет, мила душа, что ни говори, один у нас выход — к Ленину, он все скажет... А что ранетый, так мы ему горшочек меду, на травах настоенный, везем, — моя старуха от любой хвори медом лечит, могучая сила у меду...

Из темного угла в падающий от печурки круг света выдвинулся молодой солдат.

— Не возьмет он вашего меду, дед...

— Почему такое не возьмет? Мы же не как-нибудь, для пользы его, для здоровья...

— Все равно не возьмет. А ежели и возьмет, куда-нибудь в детский дом сиротишкам отправит, — не такой он человек, чтобы в мед булку обмакивать, когда народ голодом помирает... Я в Смольном еще у него был, в карауле стоял... Как мне пайка хлебная вроде глины — так и ему... Только что чай бесперечь пьет... Ну, это от сна... Спать ему совсем некогда...

Старик задумался, глядя в огонь, медленно, словно лаская, поглаживал бороду. Вздохнул.

— Ну, его воля... как скажет. Ежели скажет: сиротам, пушай сиротам... Только ведь что же это? Он же так и помереть очень просто может... А? Ну, а кругом чего же глядят?! Не ест — силком кормить надо, чтобы жил и жил. Мы-то что же без него будем?

Старику никто не ответил, монотонно стучали под полом колеса, изредка гудел где-то недалеко паровоз, выла за стенами метель, сорила в щели ледяной крупой...

— Ну что ж, поесть, что ли... — Старик вопросительно и виновато посмотрел кругом. — Вы сами-то, служивые, отужинали?

— Ешь, деда, ешь.

Старик, а за ним и его молчаливые спутники достали из мешков по черной травяной лепешке, по луковице и, сосредоточенно жуя, принялись ужинать.

## «ДА Я ЖЕ ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ!»

В Москву мы приехали ночью. Несколько часов стояли на какой-то подмосковной товарной станции, на забитых вагонами путях. По-прежнему бушевала, крутила снежные смерчи метель, а в теплушке не осталось дров, чтобы еще раз протопить. Когда теперь подъезжаешь к Москве, зарево над нею видно за много десятков километров, далекий край неба медленно плавится и раскаляется все сильнее, и, даже не глядя на часы и на мелькающие мимо дачные платформы, твердо знаешь — недалеко. Тогда все было по-другому. Выла метель, изредка перекликались в снежной мути чьи-то хриплые сердитые голоса, и все. Даже огней семафора не было видно.

Наконец, морозно скрипя пристывшими колесами, эшелон тронулся, но шел еще медленнее, чем всегда, словно подкрадывался к спящему, укутанному в снежную шубу городу.

Курский вокзал, едва-едва освещенный, был забит людьми, больше всего здесь было демобилизованных, едущих по домам. Они выскакивали на обледенелый перрон при шуме любого подходящего к вокзалу поезда, и только зычный голос дежурных кондукторов, кричавших, что поезд никуда не пойдет, останавливал людей и возвращал их к дверям вокзала, из которых клубами валил пар. Во всех залах вокзала вповалку, прямо на полу лежали оборванные серые люди, плакали дети, у дверей коменданта водоворотом крутилась толпа. Пахло махоркой и потом; керосиновые фонари, по одному на зал, тонули в мертвом сиреновом дыму.

Да, Москва была не похожа на тот светлый город, какой я успел нарисовать себе, в ней не было ни угля, ни дров, не было керосина, работала одна электростанция и то с половинной нагрузкой, и, как я узнал назавтра, в самом Кремле нередко гас свет.

Наши попутчики, те, кому предстояло ехать дальше, отправились разыскивать земляков, а несколько человек, кто оставался в Москве, сбились кучкой посреди зала и уселись на холодном, заплеванном полу: все укромные углы, где можно было бы спрятаться от толчков толпы, были заняты.

А тут еще перед самым рассветом по вокзалу пошла облава, проверка документов: искали каких-то бандитов. Трое мужчин, двое в шинелях и один в кожаной куртке, бегло просмотрели мои документы, бумаги ходоков, сидевших рядом, покосились на Олю. Но, видимо, очень уж она была мала и худа, о ней даже ничего не спросили. Они прошли в другой зал, где была уборная, и через минуту оттуда донеслись крики, звон разбитого стекла и выстрел — видимо, патруль нашел того, кого искал.

Его провели мимо нас. Он был в драном пальтишке, напоминавшем женский салоп, но салоп этот распахнулся, и из-под него стала видна диагоналевая тужурка с форменными пуговицами. Властное и худое лицо с тяжелым подбородком было вскинута, и глаза зорко смотрели по сторонам, словно арестованный кого-то искал. В уборной он пытался вылезти в окно, но не успел.

Когда, наступая на руки и ноги спящих, подталкиваемый в спину наганом, он прошел мимо нас, сидевший невдалеке на скамейке пожилой человек с темным усталым лицом сказал:

— Из этих, из эсеров... Это они и бомбу в Леонтьевском переулке кинули.

— Как — бомбу? — спросил старик, приехавший с нами.

— А так... Подкрались к окошку, где совещание, и швырь туда. А там человек двести собралось, вся наша партийная московская гвардия, только что Ильича да Якова Михайловича Свердлова не было... Ну, бомба прямо посереде комнаты и — бах... Лежит и дымит: верная всем смерть... И тут земляк мой, может, слышали, Загорский Владимир Михайлович, прыгнул к ней, к стерве, хотел, значит, в окошко выкинуть... Ну, не успел — как она жажнет! Двенадцать человек насмерть, а раненых — не меньше человек шестьдесят... Вот такие волки и кинули.

И все посмотрели на дверь, за которой скрылся арестованный.

— Ну, мила душа, а этот как же, земляк-то твой? Неужели тоже?

— А ты как думал? Ему — первая смерть... Зато сколько жизней собой заслонил. Совесть у него доподлинная была...



Спать мне не хотелось, но и в город по такой метельной тьме идти казалось рискованно. Ходоки и мы с Олей прижались к скамейке, где сидел земляк Загорского, достали свою жалкую еду. А он, откинувшись на спинку дивана, курил, глядя в потолок, и негромко говорил:

— А то вот еще, может, слышали, посла германского, Мирбаха, они убили, прямо к нему в учреждение пришли и — наповал...

— Это зачем же? — спросил старик.

— А чтобы немец замирение с нами порвал, чтобы озлился. Чтобы снова война... Им, которые империалисты, — первое дело война...

Старик с уважением посмотрел на рабочего и спросил:

— А вы-то сами, мила душа, куда же путь держите?.. По одежде-то вроде не мобилизованный, вроде не с фронта...

Рабочий осторожно погасил окурок о борт скамьи.

— Нет, я уж два года как отвоевался, глаза мне повредило... видеть ничего не стал... А еду не один, нас тут трое. Дружки с комендантом насчет проезда воюют... За хлебом едем... В Москве по заводам за этот месяц на рабочего по восемь фунтов выдали, а на семью, на жену там, на детишек — и того меньше... Ну вот и разрешили нам от завода, для всех.

— И куда же?

— Так ведь куда. Волга вся под голодом. Белоруссию чужаки драли-драли, живого места не осталось, у вас, поди-ка, тоже...

Старик отломил половину темной травяной лепешки, протянул:

— На вот, поотведай — чем живы...

— Не лучше нашего...

— На-ка с луковкой, вот как гоже...

— Спасибо.

Несколько минут жевали молча, бережно стряхивая крошки в ладонь.

Завязывая мешок, старик сказал с грустным сожалением:

— Вот, стало быть, и позавтракали и пообедали... — и спросил соседа: — А ты как? Партийный или нет? Вроде, по словам по твоим, ты должен бы партийным, а?

— А куда же без нее теперь, без партии? — спросил рабочий и встал: от комнаты коменданта пробирались двое молодых ребят, размахивая бумажками.

— Порядок. Едем!

— С богом вас, — негромко пожелал старик, застегивая полушубок, и повернулся к своим. — И нам пора... Пока дорогу найдем, пока что...

Трамваи в тот день не ходили, только редко-редко продребезжит где-то в стороне требовательный звонок. То ли не давали тока, то ли мешали снежные заносы. К началу дня во многих местах на путях уже копошились люди с лопатами, расчищая пути, здесь были и женщины и подростки, одетые серо и бедно, в разбитых и растоптанных валенках и ботинках, были и в лаптях. Но кое-где видны были и хорошо одетые, вероятно, те, кто еще не работал на новую власть и кого выгнали на расчистку снега насильно, — по бекешам и пиджакам угадывались бывшие торговцы, приказчики, чиновники, даже попик один, маленький и сытый, в длинном черном пальто, старательно, но бестолково ковырял на одном месте лопатой... Покрикивали молодые ребята и девушки, командовавшие работами, — видимо, комсомольцы. Кое-где горели на перекрестках костры, и возле них толпились озябшие люди.

Мы останавливались, расспрашивали о дороге и снова брели дальше. Нам с Олей до самой Красной площади оказалось по пути с ходоками, — брат капитана Жестякова жил в одном из Арбатских переулков.

У Иверской часовни мы распростились с ходоками, распростились, как старые знакомые, почти друзья: и мы и они чувствовали себя в этом большом и еще чужом городе одиноко, неуверенно.

— Вот и дошли, стало быть, мила душа, до самого сердца земли русской. Чем-то теперь господь обрадует... Допустят до Ленина, альбо так и пойдем с чем пришли? — Сняв шапку, он истово перекрестился на темную икону у входа в Иверскую, где уже собирались нищие и калеки. — Помоги, заступница...

Метель стихала; в белесой мути утра вздымались в небо красные кирпичные зубчатые стены Кремля, островерхие башни с темными и узкими глазницами окошек,

темные чугунные фигуры Минина и Пожарского вздымались над заснеженной площадью.

Ходоки ушли, а мы с Олей постояли еще, глядя, как медленно тают в тумане их неторопливые тени. Вот, думалось мне, может быть, они сегодня увидят Ильича и будут с ним говорить. Какой он? Тогда я еще ни разу не видел изображения Владимира Ильича: газеты не печатали никаких портретов, — только имя его шло по стране из края в край.

— Пойдем, — потянула меня Оля. — Ноги озябли... У нас в Севастополе никогда не было столько снега...

И опять брели по незнакомым улицам, останавливая встречных и расспрашивая, как пройти. Некоторые просто не отвечали, другие, озябшие, так же, как мы, сердито огрызались и махали в сторону Арбата рукой.

Жил Алексей Жестяков в Мерзляковском переулке, в доме Шабалина, большом, шестиэтажном кирпичном, довольно мрачном, давно не ремонтировавшемся здании. Я еще раз проверил по записке покойного капитана адрес, и мы вошли в подъезд. За черной проволоочной сеткой мертво стыла железная коробка лифта, на ступеньках лестницы примерзли грязные комья давно нечищенного снега. Поднимались медленно, ожидая, что кто-нибудь попадется навстречу, чтобы еще раз спросить, но дом, казалось, вымер, словно мы были в городе, давно оставленном людьми. Некоторые двери были заколочены досками, из-под них выглядывали медные и эмалированные дощечки.

На четвертом этаже мы потоптались перед обитой черной клеенкой дверью, отряхнули с валонок снег, нерешительно поглядывая друг на друга.

«Инженер Алексей Иванович Жестяков» — было вырезано на латунной, позеленевшей от времени и невзгод дощечке с загнутым углом. Под этой дощечкой, точно маленький, разглядывающий нас глаз, белела костяная кнопка звонка. Мы раз за разом нажимали ее и ждали ответа, но в глубине квартиры все молчало. Звонили снова и снова. Не знаю, сколько еще времени топтались бы мы у немой, словно заколдованной, двери, если бы не старушка, которая спускалась сверху с небольшими салазочками, — к ним были привязаны какие-то завернутые

в полосатую шаль вещи. Она остановилась и, щурясь, долго разглядывала нас.

— Звоните? — спросила она с непонятным ехидством.

— Да.

— К инженеру?

— Ага.

— Ну, звоните, миленькие, звоните.

И, кряхтя, потащила со ступеньки на ступеньку свою ношу. И, только спустившись еще на два или три марша, прокричала, словно прокаркала снизу:

— Электрические-то звонки по всей Москве который год не работают! Звоните, миленькие, звоните!

Тогда я принялся стучать в дверь, сначала робко, чуть слышно, потом все громче и громче.

— А может быть, его и нет? — сказала Оля. — Может, он тоже умер?

Но как раз в этот момент совершенно бесшумно приоткрылась, а затем распахнулась дверь. На пороге появился взлохмаченный старик в наброшенной на плечи дорогой шубе, с очками в одной руке и с книгой в другой. Он надел очки. Они, в тоненькой золотой оправе, были почти невидимы на его худом лице, но именно они придавали ему странное, не от мира сего, выражение. Во всем его внешнем облике было что-то от Дон-Кихота.

— Обыск? Облава? — спросил он неожиданно молодым, звонким голосом, глядя на мою буденовку и шинель. Но тут увидел Олю, и что-то как бы дрогнуло и сместилось в его лице. Снял очки торопливо протер их не первой свежести платком и снова водрузил на свой горбатый аристократический нос. В его лице почти не было сходства с покойным капитаном. — Ты кто? — спросил он Олю, наклоняясь к ней.

— Оля.

— Николкина?

— Да.

— А он где же? — Но, увидев слезы на глазах девочки, замахал руками. — Не говори, не говори, понимаю... — Он — с тобой? — Алексей Иванович кивнул в мою сторону.

— Он привез меня...

— Ага! Сколько же лет я тебя не видел? Боже мой.

да я же тебя никогда не видел! Только карточки... Ну, проходи в мою берлогу. И вы проходите. Только холодно, как на полюсе. Книгами топить не могу — не поднимается рука. А больше, увы, чем?.. Табуретки, стулья и кухонный шкаф — все принесено в жертву...

Квартира была большая, из трех или четырех комнат и кухни, и почти все комнаты были заставлены шкафами с книгами. В самой маленькой комнатке, в кабинете, где книги валялись повсюду: на подоконниках, на креслах, на полу в промерзшем, белом от инея углу, на столе. Чугунная печурка была центром и божеством этого арктического острова, на ней стоял никелированный кофейник. Согнутая коленом жестяная труба уходила в окно, покрытое толстым слоем льда.

Алексей Иванович подошел к письменному столу, где высились груды книг и лежали листы рукописи и чертежи, потыкал пальцем в чернильницу.

— Замерзло! Арктика. Ледниковый период. — И, повернувшись, пристально и добро всмотрелся в Олю. — Н-да! Ты, девочка, совсем как пергамент... Ну, вы пока не раздевайтесь. А я поищу в классических творениях то, что можно принести в жертву погибающей жизни... Садитесь, садитесь к печке, сейчас зажжем жертвенный огонь...

Он ушел в коридор, где тоже стояли шкафы с книгами, долго шуршал там листами, вздыхал и бормотал что-то, чего нельзя было разобрать. Вернувшись, со вздохом положил у печурки несколько книг и, не снимая шубы, присел возле. Каждую книгу перелистывал, словно прощался с ней, и приговаривал:

— Кошунство? Конечно, кошунство! Но если человечество выздоровеет от этой чумы, великого Льва русской литературы оно, вероятно, переиздаст еще раз. Так что прости, старик... И ты извини, великий насмешник<sup>1</sup>. Нужда... И не ради себя...

Потом Алексей Иванович принес из кухни несколько деревянных крашенных брусков — остатки шкафа.

— Все туда, все туда, — приговаривал он почти весело и все поглядывал и поглядывал на Олю. — Каменный век. Палеолит.

<sup>1</sup> Великий насмешник — так называли знаменитого философа и писателя Франции Вольтера,

Я с удивлением рассматривал этого странного человека, его козлиную, устремленную острием вперед седую бородку, его подагрически припухшие крючковатые пальцы, его одежду, слушал малопонятные мне слова. И комната была под стать этому чудаковатому, но, видимо, доброму и милому старику. Несмотря на холод и закованные льдом окна, в ней мне чудился какой-то странный, особенный уют, тепло. Позднее я догадался, что ощущение тепла исходило от висевшего над столом портрета грустной и красивой женщины с большими, обведенными тенью глазами, смотревшей прямо и — мимо. У нее были пышные взбитые волосы, сквозь которые откуда-то сзади или сбоку пробивался таинственный и немного тревожный, подкрашенный киноварью свет. Впечатление такое, как будто где-то рядом с женщиной или сзади полыхал пожар, а она стояла отвернувшись, скорбная, спокойная и обреченная. Потом я часто смотрел на этот портрет, в нем было что-то притягивающее, и тревожащее, и успокаивающее одновременно.

Когда печурка разгорелась, Алексей Иванович ушел в одну из соседних комнат, принес оттуда маленькую женскую беличью шубку. По мимолетному и просящему извинения взгляду, брошенному на портрет, я понял, что когда-то шубка принадлежала ей, этой грустной и милой женщине.

— А ну-ка, великая княгиня Ольга, снимай с себя свою скорлупу. В этом будет теплее. И давай посмотрим, дружище, что творится с твоими нижними конечностями. От вокзала пешком шли?

— Да.

— Путь из варяг в греки! Вернее, наоборот. Да. — Он присел на маленькую скамеечку у печки, на ней он, вероятно, сидел в своем ледяном одиночестве перед открытой дверцей буржуйки, когда в ней жило и веселилось пламя. — Снимай, снимай свои котурны... И давай обернем пока твои милые ножонки вот этой рухлядью, которая когда-то была пледом. Вот так... Все остальное, девочка, скушала тетка Сухаревка, у нее первобытно большой рот. Она может скушать империю и побольше нашей. Да. А теперь будем пить чай; к счастью, вода у нас еще есть...

Во многих домах тогда водопровод не работал: вода в трубах замерзала, за водой приходилось ходить на колонку. Потом и я много раз ходил туда.

Я перебирал, перелистывал книги, обреченные стариком на сожжение. Многие из них были на непонятном мне языке. Я вырывал листы и отправлял их в огнедышащую пасть. Печурка уже дышала на нас теплом, розовела, словно и в ее мертвое чугунное тело понемногу возвращалась живая веселая жизнь. Когда же мне попались знакомые страницы — это были главы из «Казаров» Льва Толстого, — я зачитался, позабыв про печку. Алексей Иванович тронул меня за плечо:

— Молодой гунн. Вы еще успеете наглотаться всяческой мудрости, если наша старушка планета переживет этот ледниковый век. Но не спешите! Вспомните Экклезиаст<sup>1</sup>: «Ибо во многом познании много печали и кто умножает познание, умножает скорбь». Человек, наверно, был бы во много раз счастливее, если бы просто ковырял каменной мотыгой землю и выращивал злаки для кормления своих детенышей... Хотя... ведь и каменным топором убить можно? А?

### **«ГУННЫ, ГУННЫ!»**

Оля все же слегла. Последние дни пути она, видимо, держалась на том нервном напряжении, которое заставляет совершенно обессиленного человека шагать и шагать и падать замертво уже у цели. Мы напились чаю, то есть горячей воды, съели куски жмыха, что я выменял на колечко Олиной мамы на одной из стоянок под Москвой, похлебали супа из воблы, купленной Алексеем Ивановичем. И Оля, опьянев от горячей еды, страшно ослабела.

Алексей Иванович уложил ее на тахту возле печки, где, наверное, спал сам, укутал шубой и всеми одежонками, какие нашлись в доме, и присел рядом. Его лицо стало озабоченным и печальным.

— Итак, милая царевна, вы, кажется, хотите расплачиваться за комфорт международного экспресса, кото-

---

<sup>1</sup> Экклезиаст — одна из книг библии.

рый привез вас в мою пустыню? Не платите слишком много. Так. Посмотрим. Ручонки вырублены из льда, а в голове пожар. Надеюсь, все же наш милый Кораблик не пойдет ко дну...

Он долго сидел молча, поглаживая восковую ручонку Оли своей огромной, жилистой, как у крестьянина, рукой. И были в этом поглаживании удивительные, почти невозможные ласковость, нежность и боль.

Печка между тем прогорела и почти остыла, живой румянец, только что окрашивавший ее бока, исчез. Куча черного бумажного пепла топорщилась в глубине. И снова холод выполз из углов, куда он отодвинулся на полчаса, сжал ледяными пальцами плечи, стал сковывать ноги.

— Н-да! — сказал Алексей Иванович, вставая. Снял очки и вопросительно посмотрел на меня.

А я сидел во власти самых тяжелых раздумий. Что же, я сделал то, что хотел; теперь, наверное, мне полагалось уйти. Но, когда я вспоминал заснеженные улицы, морозный, скрипящий под ногами снег, белые саваны, окутавшие деревья в садах и скверах, мне становилось боязно. Идти некуда. На поиски друга дяди Сергея (письмо к нему вместе с запиской Жестякова хранилось у меня в кармане гимнастерки) мог уйти целый день, и было неизвестно, жив ли вообще этот друг, в Москве ли. Я встал, достал записку капитана и молча отдал ее Алексею Ивановичу. Тот с некоторым недоумением развернул испачканный кровью лоскуток бумаги, прочитал. И снова сел.

— Я пойду, — сказал я, застегивая шинель.

— Куда?

— Не знаю.

Он опять посмотрел на Олю, погладил с тем же выражением жалости и нежности ее бессильную, прозрачную руку, глянул еще раз на записку и осторожно, как живую, положил на стол.

— Подождите, вот что.

Он ушел в кухню и вернулся оттуда с огромным ножом в руках. У меня мелькнула страшная мысль, что он сошел с ума и хочет меня убить. И, когда он, открыв дверь в соседнюю комнату, поманил меня за собой, я не пошел.



— Да идите! — сердито сопя, позвал он. — Я не собираюсь вас убивать.

Он стоял посредине комнаты. Когда-то, вероятно, она служила столовой, на стенах висели натюрморты: на фарфоровых тарелках фрукты и битая дичь. Комната была удручающе пуста, она напоминала раздетого донага человека. Оглянувшись на меня, Алексей Иванович отошел в один из углов, опустился там на колени и принялся ковырять ножом паркет. Паркет был старинный, дубовый, крепкий, в нем почти незаметно было щелей.

Поняв, что ему надо, я скинул шинель и подошел, молча взял нож. С большим трудом мне удалось выковырять первую плитку паркета, но дальше пошло легко. Достаточно было поддеть дощечку под низ, ударить по рукоятке ножа мраморным пресс-папье, которое принес Алексей Иванович, и дощечка выскакивала.

— Итак, — сказал Алексей Иванович, — атмосферные невзгоды путешественникам не страшны. — Он отошел к двери, осторожно выглянул. — Спит. — Вернулся, сел рядом со мной прямо на пол и, глядя на меня вдруг заслезившимися глазами, спросил: — Вы знаете, как он умер?

— Да.

— Гунны, гунны! — хрипло сказал он и, ткнувшись лицом в колени, беззвучно заплакал, только плечи тряслись. — Николенька... Николенька... брат...

Когда он успокоился, мы выломали еще несколько паркетных дощечек и снова затопили буржуйку. Оля спала. Мы сидели в облаке блаженного, размягчающего тепла, оно текло по телу, как ласковый и добрый огонь. Клонило ко сну. Алексей Иванович сидел, опершись подбородком на ладони, и, глядя в огонь неподвижным взглядом, думал. Я пытался угадать, о чем думал этот страшный, доживающий жизнь одинокий человек. Может быть, в его памяти проносились картины детства, когда он вместе с братишкой ходил в гимназию, устраивал нелюбимым учителям маленькие мальчишеские пакости, ухаживал за девушками, хоронил мать?

Я вышел в переднюю, где оставил у дверей Олин чемодан, и принес его в кабинет. Перед отъездом из Сева-

стополя мы собрали в квартире Жестяковых все, что осталось после погибшего капитана: письма, документы, фотографии. Связанные шнурками от капитанских ботинок, эти дорогие Оле реликвии лежали на самом дне. Я достал их и отдал Алексею Ивановичу.

Он ушел за письменный стол и, освободив от рукописей и чертежей место на середине стола, дрожащими руками развязал шнурки. Там, наверное, были и его собственные письма, и, может быть, письма их матери и отца, и письма красивой и грустной женщины, портрет которой висел над столом, — самое ценное, на что, несмотря на все превратности судьбы, у человека не поднимается до самой смерти рука. Старик что-то беззвучно шептал над этими бумажонками и фотографиями — они больше ни для кого в мире не имели цены.

Сколько он просидел так, не знаю: я заснул, сидя у печки, и снилось мне что-то родное и милое. Такое ощущение у меня бывало в дни раннего детства, когда я засыпал, лежа рядом с матерью, уткнувшись носом в ее грудь, защищенный ее присутствием от всех напастей и горестей, что ходили по земле.

Разбудил меня Алексей Иванович. Он стоял передо мной, задумчиво пересыпая на ладони мелкие драгоценности, оставшиеся после жены капитана: две или три пары причудливых заморских сережек, обручальное кольцо и колечки с камешками, маленький серебряный медальон. Когда Алексей Иванович открыл крышечку, из-под нее на нас глянуло молодое и смелое лицо, — таким был капитан Жестяков в юности. На краю стола лежали золотые часы, те самые, которые капитан предлагал мне за помощь Оле.

— Вот что, юный гунн, — задумчиво сказал Алексей Иванович. — Пасть Сухаревки уже разинута на одну из этих дорогих мне вещей. Эквивалент какого-то количества хлеба и крупы. Я отправляюсь на поклон к этой всеядной бабище, а вы караульте пещеру.

Он выбрал из золотых и серебряных безделушек колечко и сережки, надел в рукава шубу, натянул на голову старый заячий треух. Еще раз посмотрев на спящую Олю, сказал:

— Не будите ее. Пусть спит.

У двери я остановил его:

— Почему вы называете меня гунном? Кто такие гунны?

Он странно усмехнулся, не ответив, вышел в коридор и там достал из одного из шкафов толстую, переплетенную в кожу книгу с золотым тиснением на корешке. Это был том из «Всемирной истории» Шлоссера. Полистав книгу, Алексей Иванович нашел нужное ему место, ткнул пальцем в страницу:

— Читайте. Человек должен хоть что-нибудь знать о своих предках. Заприте дверь.

И уже у самого выхода, обернувшись ко мне, спросил:

— Да! А как же ваше настоящее имя?

— Данил.

— Даниил-заточник?

Я не ответил. Мать у меня была религиозная, и благодаря этому я знал имена многих святых и подвижников. Алексей Иванович, видимо, понял мое молчание как обиду. Он потрепал меня по плечу, улыбнулся мягко и виновато:

— Ну, не сердитесь, Даниил. Если мы не станем приправлять черный хлеб нашей жизни шуткой, жить станет невозможно. Вот так.

Я запер за ним дверь на крюк и на английский замок и вернулся в кабинет. Оля спала разметавшись, — в комнате стало тепло, с подоконников на пол падали капли воды, лед на стеклах посинел, стал тоньше.

Устроившись поудобнее, я принялся читать о гуннах, об их бесчеловечных и страшных набегах, об их жестокости, о том, как их орды шли по Европе, оставляя позади моря крови и горы трупов. Так вот почему этот милый и добрый старик называет меня гунном! В его представлении Красная Армия — это дикари нашего века, бич божий, порог нового варварства.

Но читать мне пришлось недолго, — кто-то постучал во входную дверь. Думая, что это вернулся Алексей Иванович, я отпер замок, снял крюк. И тотчас же, не сказав ни слова, в комнату, оттолкнув меня, протиснулся человек в драной шинели и мерлушковой солдатской шапке. Давно не бритое лицо, красное от мороза и ветра, вы-

глядело настороженным и предельно усталым, глаза смотрели с недоброй пристальностью.

Заперев за собой дверь, прислонившись к ней спиной, опуская поднятый воротник шинели, пришедший спросил:

— Жестяков жив?

— Да.

Не снимая шинели и не говоря больше ни слова, неизвестный быстро пошел в глубь квартиры, казалось, он хорошо знал расположение комнат. Я пошел следом. В кабинете он остановился, сказал: «Боже мой, тепло!» — снял шинель и, накинув ее на плечи, сел к печке, жадно протянул к огню руки. Но сидел так недолго, что-то беспокоило его, он встал, прошелся по комнате, постоял над спящей девочкой. Сказал:

— Оленька? — И измятое небритое лицо его перекопилось, словно от зубной боли. Потом постоял у стола, перебирая бумаги и фотографии покойного Жестякова, увидел предсмертную записку, прочитал и только тогда, повернувшись, посмотрел мне в лицо.

Моя шинель и буденовка лежали на диванчике у двери. Он подошел, посмотрел.

— Твое?

— Да.

— Значит, тоже вояка? Здорово мы их траханули. А? На Перекопе-то. А? Закурить есть? Чертовски давно не курил, прямо руки дрожат...

— Нет.

Я снова взял историю и принялся читать про гуннов, но они теперь уже не так занимали меня, как несколько минут назад. Что-то не нравилось мне в нежданном посетителе, — может быть, его нервность, его беспокойство, ищущие глаза, которые перебегали с предмета на предмет и никак не могли остановиться. Я уже хотел спросить его, где он воевал, но тут проснулась Оля. Она пристально, еще сонными глазами посмотрела на незнакомца, и, словно луч света, на лицо ее набежала улыбка.

— Дядя Володя!

Он подошел к тахте, сел на край, погладил девочку по голове:

— Миленькая. Крохотуля. Давно здесь?

— Сегодня. Мы с Даней приехали. А вы, дядя Володя?

— Я? — Он секунду подумал, прищурившись. — То же недавно. Домой еду, в Питер, да вот захотелось поглядеть Алексея. Он где?

— А я не знаю.

Я оторвался от книги:

— Он пошел на какую-то Сухановку, что ли...

— На Сухаревку, наверно?

— Может быть...

Он опять погладил Олю вздрагивающей рукой по волосам:

— Осиротела, детка? Не плачь. Мы все осиротели. У меня двух братьев убили. Ты их не знала. А помнишь, как я тебя на катере катал? И ты боялась.

— Помню. Вы тогда красивый были, дядя Володя.

Он провел ладонью по щеке, бегло оглядел комнату.

— Без зеркала живет. Анахорет!<sup>1</sup> — Встал, подошел к столу, внимательно и печально посмотрел на портрет женщины. — И Юленька умерла. — Вернулся к тахте и опять сел. — Заболела, крохотуля?

— Не знаю.

— Вот уж не думал я тебя тут встретить. И очень рад. Ты тоже рада?

— Очень, дядя Володя.

Они перебрасывались коротенькими фразами, я скоро перестал слушать, перелистывая страницы книги. Атилла вел свои полчища через прекрасные города и сады Европы, сея смерть, не оставляя позади ни одной жизни. Я читал и думал, что, вероятно, всегда были на земле войны, всегда одни люди истребляли других, нанося для этого тысячи способов и путей. Но, может быть, наша, только что окончившаяся война — одна из последних: ведь если не будет ни бедных, ни богатых, а все будут равны, нечего станет отнимать друг у друга...

Когда раздался стук в дверь, я отложил книгу, но тот, кого Оля называла дядей Володей, опередив меня, вышел в коридор. Лязгнул крюк, щелкнул замок, и голос Алексея Ивановича громко и удивленно воскликнул:

---

<sup>1</sup> Анахорет — отшельник.

— Граббе! Краб! Живой? «Еще не все пропало, не все смел ураган насилия лихого?!»

— Ах ты, ископаемое!

Граббе сказал что-то еще, но я не расслышал что. И через несколько секунд, отвечая ему, Алексей Иванович с сомнением в голосе протянул:

— Само собой! Они сегодня приехали.

Так вот, оказывается, кто был незванный гость! Тот самый «Краб», о котором в предсмертной записке упомянул Жестяков. Теперь я совсем другими глазами смотрел на его породистое лицо, на его нервные руки. И записка Вандышева к какому-то Корожде, лежавшая у меня в кармане гимнастерки, словно зашевелилась.

Алексей Иванович принес хлеба и всякой снеди, через полчаса мы сидели возле письменного стола и ели. Оля ела нехотя и все смотрела и смотрела на Граббе. А Алексей Иванович, видимо продолжая какой-то давний спор, говорил Граббе:

— ...да, я знаю, мое дело — дорогой покойник и сам я — ненужное, ископаемое: чудакус вульгарикус. Мне уже ничего не придется строить! Знаю. Но что поделаешь, не всем дано жить и умирать героями... Да я и не представляю себе планеты, сплошь населенной героями. Вот скука была бы! А, Кораблик? Правда? — И опять повернулся к Граббе. — Сейчас бы, Володя, в горячую ванну! А? Да побриться бы!

— Зачем? — усмехнулся Граббе, потирая ладонью щеку. — Последний крик моды. Кстати, Юлин рояль ты еще не израсходовал на дрова?

— Пока нет, он — последний в очереди смертников. Только шинель накинй. Там — полюс холода...

Граббе накинул шинель и, ссутулившись, ушел в глубь квартиры, в комнату, где я еще не был. И вскоре оттуда, заглушенные двумя дверями, понеслись мощные и страстные звуки. Но играл Граббе недолго, вернулся и, потирая руки, сказал:

— Невозможно. Пальцы к клавишам примерзают. Даже реквием<sup>1</sup> самому себе не доиграл...

---

<sup>1</sup> Р е к в и е м — траурное музыкальное произведение.

## «НАВЕРНО, ПОТОНЕТ НАШ КОРАБЛИК»

Мне очень не хотелось оставаться у Жестякова после приезда Граббе: слишком неприязненно косился на меня этот неожиданно появившийся человек. Я был убежден, что это белогвардейский офицер, избежавший плена и не успевший скрыться за границу. Я чувствовал, что мешаю, он то и дело заговаривал с Алексеем Ивановичем по-французски — я не понимал ни слова, — только иногда в летучую чужую речь врывалось знакомое: Петербург, Кронштадт, мелькали неизвестные мне фамилии и имена.

Но я знал, что мне нельзя совсем уходить отсюда, — в моей памяти жили слова Вандышева: «Нет ли там, под самым боком у Ильича, еще какого гнезда змеинного».

Надо было как можно скорее отыскать Романа Корожду: записка к нему, лежавшая в кармане гимнастерки, прямо жгла мне грудь. И жалко было оставить Олю, я привязался к ней, привык, чувствовал себя ее защитником и опорой, хотя теперь у нее и нашлось пристанище, родной человек рядом, он не оставит в беде, не даст погибнуть.

А ей становилось все хуже, она металась в жару, иногда начинала бредить, звала отца, просила бинты, плакала, жаловалась: «Болит, болит!» Я думал: а вдруг не простуда, а тиф, — могла же подцепить в пути? Эта догадка превратилась в уверенность, когда присевший рядом с Олей Алексей Иванович со страхом стряхнул что-то с ее худой восковой руки.

— Вошь, — сказал он, вставая. — Боже мой, и нельзя ее вымыть!

Граббе подошел к тахте и, не садясь, заложив за спину руки, долго стоял и смотрел на девочку, на ее покрытый испариной лоб, на ручонки, беспомощно и тревожно метавшиеся по одеялу.

— Да, наверно, тиф, — сказал он негромко. Посвистел. — Ах, крохотуля, крохотуля! Алексей, здесь неподалеку живет знакомый мне врач — одно время служили вместе. Правда, хирург. Но он, наверно, поможет... — И, подойдя вплотную к старику, быстро и просительно заговорил по-французски.

Я видел, что эти разговоры раздражают Алексея Ивановича, он хмурился, его седые брови сердито соединились на переносице, он отвечал не сразу и односложно. А на этот раз сердито сказал по-русски:

— Вот что, Владимир! Я стар для таких предприятий и не имею ни малейшего желания ввязываться в ваши дела. Пусть две камарильи грызут друг друга сколько угодно. А я допишу свою, никому не нужную работу и умру, потому что делать мне на земле нечего... Хотя... — не договорив, посмотрел на больную, поправил одеяло...

— Но ведь это долг каждого честного русского! — дрожащими губами сказал Граббе и оглянулся на меня: я снова успел склониться над историей гуннов.

— Уж если у меня есть еще какой-нибудь долг, — ответил Алексей Иванович, — так вот он лежит...

— Хорошо. Я приведу этого врача, — после минутного раздумья сказал Граббе, надевая шинель.

Алексей Иванович вышел в соседнюю комнату, и там долго скрипели какие-то дверцы, шелестела бумага и ткань. Затем он вернулся с ножницами и с ворохом женской одежды: здесь были ночные сорочки и платья, какая-то жакеточка, чулки и отороченные мехом шлепанцы.

— Вот. Это Юличкино... Данил, помогите переодеть, — попросил он. — Только, наверно, надо сначала остричь. Вы умеете стричь?

— Не знаю.

Расстелив возле тахты старые газеты, мы долго и неумело стригли ножницами бредящую Олю; она обвисала у нас в руках, как неживая. Потом стащили с нее все, что на ней было надето, и осторожно вместе с газетами сунули в печь. Переодетая в не по росту большое платье, Оля выглядела еще беспомощнее, еще больнее.

— У вас, Данил, тоже, наверно, водятся эти драгоценные подарки эпохи? — спросил Жестяков.

— Какие?

— Ну, вши...

— Да, есть.

— Вам надо достать талон в баню и дезкамеру. Иначе со всеми нами будет — как это? — какук? Да... Хотя, может быть, уже и поздно... — Помедлив, добавил: — Не обижайтесь. И вообще приходите... Мне кажется, Оля к



вам привязалась. И я, может быть, смогу вам чем-нибудь помочь...

Я молча оделся и ушел, сам не зная, куда и к кому пойду. Письмо, которое дал мне дядя Сергей, было адресовано Роману Гавриловичу Корожде. Отыскал я его только на следующий день, отыскал с трудом. На прежнем месте, в отряде особого назначения, он уже не работал, мне сказали, что, пожалуй, надо поискать в Чека. Но и в Чека на Лубянке его в тот день не оказалось, и никто мне не мог сказать, как скоро вернется. Адресные столы тогда в Москве не работали, найти квартиру Корожды я не мог и только попусту долго плутал по захламленным проходным дворам, по обледенелым переулкам Маросейки: мне сказали, что живет он где-то в этом районе. Конечно, это было совершенно безнадежное предприятие, и, поняв это, я отправился на уже знакомый мне Курский вокзал, где и провел холодную, долгую ночь. А утром пошел на Лубянку. Мне долго не хотели выписывать пропуск, но я упрямился, и дежурного позвонить Корожде.

Он сидел, набросив на плечи кожанку, в нетопленной небольшой комнате и что-то писал левой рукой — правая у него высохла.

— Стало быть, ты от Сереги Вандышева? Все воет дружок? Так, так. Ну, проходи, швартайся...

Роман Гаврилович оказался большим добродушным человеком, «пролетарием чистых кровей», как любил говорить он сам; он отнесся ко мне с участием и теплотой. И вечером, вымытый и остриженный, в остро пахнущей дезинфекцией одежде, я сидел в квартире Корожды за столом, на котором стояла какая-то еда.

Жена Романа, тетя Маша, была под стать ему, крупная, добрая и веселая. Их крошечная квартирка показалась мне очень уютной, хотя все в ней было самое простое, самое дешевое: и столы, и табуретки, и кровать, и самодельная детская зыбка, подвешенная по-деревенски прямо к вбитому в потолок крюку. Весело лопотал в буржуйке огонь, и маленький мальчик сидел на подушке перед печуркой, кутаясь в старую заплатанную курточку и глядя как завороченный в огонь.

— Ну вот, бог гостя дает, — сказала, полуобернув-

шись к двери, Маша, когда мы вошли, и улыбнулась добро и мило.

Эта улыбка была так неожиданна. За последние годы я насмотрелся на картины человеческих несчастий, столько слышал жалобных и злых слов. В памяти у меня часто вспыхивало когда-то прочитанное: «Несчастья делают людей эгоистами, тупыми и злыми». Я не мог вспомнить, где и когда я прочитал эти слова, но они никак не хотели уходить из памяти, они повторялись и повторялись в мозгу.

— Проходи, солдатик, проходи, — сказала тетя Маша. — Иззяб, милый? Шинелька-то на рыбьем подкладе? Ага? Вот сюда, к печке поближе... Враз отойдешь...

И через полчаса мне уже казалось, что я знаю эту маленькую семью давным-давно, такими они стали мне близкими. Коротко и косноязычно я рассказывал о своей жизни, о маме и об отце, о Подсолнышке и Оле Беженке, о маленьком родном городке и боях за Перекоп, о Севастополе, где оставил дядю Сергея.

Тетя Маша слушала, с жалостью глядя на меня, подперев ладонью щеку, а Роман пил кружку за кружкой морковный чай, и под его пышными соломенными усами влажно блестели крупные зубы. И малыш, сидевший на руках матери, в упор разглядывал меня выпуклыми, темными, как сливы, глазами.

Когда я замолчал, Роман, закуривая, сказал:

— Не панихиды служить надо. Да. Теперь мы в своем дому полные хозяева, порядочек надо наводить и чистоту. Рукава покруче засучивать — грязи много!.. Вот что... Завтра же, Данилка, подберем что-нибудь по твоей силе: людей у нас, друг мой, маловато по делам нашим...

Я остался у них ночевать — уж очень трудным представлялся мне в ту ночь путь через заснеженную, скованную лютым холодом, безлюдную, полумертвую Москву. Тетя Маша постелила мне что-то на полу рядом с печкой, под мелодично поскрипывавшей колыбелью, где спал малыш; я укрылся шинелью и подумал, что и здесь, в Москве, я нашел друзей. Перед самым сном я еще раз повторил Роману Гавриловичу рассказ о записке покойного Жестякова и о появлении в Мерзляковском переулке Граббе.

— Серега прав! Очень все может быть, — попыхивая в темноте огоньком папиросы, отозвался Роман. — Знаешь, сколько тут этих контриков в прошлые годы поразвелось — счету нет! Тут тебе и эсеры, Каплан, заговор Локкарта, «Национальный центр», и «Правый центр», и «Союз защиты родины и свободы», и «Союз возрождения»! <sup>1</sup> Не перечтешь! Вся эта нечисть так и норовит где-нибудь укусить, да побольнее, до самой до крови... И теперь, ясное дело, как на фронте дело их прахом пошло, снова начнут собираться по всяким углам... И ты, Данилка, присматривайся к этому Крабу, может, и вправду серьезное... А я в Чека завтра же поговорю...

Рано утром они ушли на работу: тетя Маша на Трехгорную мануфактуру, Роман — на Лубянку. Маленького Гришутку отвезли на саночках в детский сад. Мне Роман сказал, чтобы я пришел на Лубянку после двух, — ему предстояло с кем-то обо мне переговорить.

Я пошел к Жестяковым. Как не похожа нынешняя Москва, нарядная, прекрасная, веселая, бьющая живыми ключами жизни, на Москву тех лет! Но даже и тогда, в тяжелые для всех нас годы, она поразила мое воображение. Я вышел на Красную площадь и долго, утопая в снегу, ходил вдоль кремлевских стен, стоял у Лобного места, у Исторического музея. Я вспоминал то, что знал из истории родной страны. Отсюда уходили дружины Дмитрия Донского, здесь, застыв в ужасе, мертво молчали народные толпы, окружавшие Лобное место и смотревшие на казнь Стеньки Разина. А совсем недавно, думал я, отсюда уходили на фронты гражданской войны рабочие, матросы и солдаты, уходили защищать родную землю. Тогда о Красной площади я знал мало, но, ступив на ее бессмертные камни, я вдруг как бы увидел овеществленную историю своего народа, ее глубину, необъятность подвигов, совершенных народами России...

В тот далекий день я ходил вдоль кремлевских стен, пока совершенно не околел, жадно всматривался в фигуры людей, выходивших и выезжавших из Кремля; мне все казалось, что вот-вот из-под красной арки ворот покажется Владимир Ильич и я увижу и узнаю его. Я отхо-

---

<sup>1</sup> Контрреволюционные организации, пытавшиеся свергнуть советскую власть.

дил на другую сторону площади и оттуда подолгу смотрел на видимые за стеной окна, — может быть, вот эта скользнувшая по обледенелому стеклу тень — это тень Ильича.

Совершенно неожиданно, когда я уже собрался уходить, я увидел вышедших из ворот наших недавних попутчиков. Мужики вышли из ворот и остановились и, повернувшись лицом к Кремлю, сняв шапки, долго стояли и смотрели вверх. Я подошел, мне хотелось узнать, были ли они у Ильича.

— Здравствуйте.

Все трое повернулись ко мне и посмотрели на меня, не понимая, видимо, не в силах меня вспомнить. Глаза их как будто даже не видели. Не отвечая, старик надел свой потрепанный малахай и глубоко вздохнул.

— Холодно у него в горнице, вот беда! Солдат там возле дверей сидит. «Как же ты, говорю, антихристова душа, до тепла у него не топишь? Лень тебе заборину какую порушить? А?» А он мне чего? «Сам, говорит, не велит. Как всему народу, так пушай и мне». Вот. Ему бы в шапке сидеть, а то голову застудить можно. Голова-то вовсе у него голая.

— Очень даже просто, — кивнул другой.

И снова, обернувшись, они долгим взглядом разглядывали Кремль, словно хотели навсегда запомнить покрытые белым налетом изморози стены и башни. Такими они и остались в моей памяти, эти оборванные лохматые мужики, которые уносили в свои далекие разоренные войной и голодухой деревни коснувшееся их тепло и свет ленинского сердца...

— А ведь мед и взаправду не взял! — прокричал мне старик, уже отойдя. — Ну, я тоже хитрый: я ему горшок под столом оставил. Теперь хочешь не хочешь лечись!

Я прошел по Манежной площади, где, словно хребты белых гор, громоздились сугробы, прошел по нынешней улице Герцена, где магазины все еще смотрели на прохожих слепыми квадратами витрин, заколоченных досками и закрытых шторами черного гофрированного железа. У хлебной лавчонки неподвижной серой змеей стыла очередь женщин и детишек, оборванных, голодных и несчастных.

Когда я постучал в квартиру Жестяковых, мне не сразу открыли, я долго топтался, переминался с ноги на ногу, пытаюсь согреться, прислушиваясь к тишине. И снова, как прошлый раз, с одного из верхних этажей спускалась черная сгорбленная старушка с салазками. Остановившись возле, она всмотрелась в меня подслеповатыми слезящимися глазами и спросила:

— Еще не помер инженер-то?

— А тебе что? — огрызнулся я.

— Помрет... убязательно помрет... — И пошла вниз, стуча полозьями санок по каменным ступеням. — Скоро все предстанем на суд праведный, да святится воля его...

Открыл мне сам Жестяков, открыл не глядя и быстро пошел вперед.

В кабинете, у тахты, где лежала Оля, я увидел, кроме Граббе, еще одного человека. Даже пока он не повернулся ко мне лицом, я почувствовал в его крупной, самоуверенной фигуре знакомое, полузабытое: где-то я его встречал раньше. И, когда он выпрямился над больной, я чуть не вскрикнул: Шустов! Тот самый хирург Шустов, кого два года назад в далеком и родном для меня заволжском городке едва не расстрелял Вандышев за отказ работать в тифозном госпитале. Позже я сам лежал в этом госпитале, и там Шустов отрезал раненому красноармейцу гангренозную ногу, которую, говорят, можно было спасти. Его увели из госпиталя в Чека, но он бежал оттуда с шестью другими. И вот он где!

— Заявите, куда это у них полагается, — сердито и брезгливо сказал Шустов Алексею Ивановичу. — Пусть увозят в больницу.

Он стоял теперь боком ко мне, и я видел его красивый, барственно надменный профиль. Он по-прежнему был похож на Шаляпина, годы скитаний, невзгод и войны не сбили с этого человека ни высокомерия, ни барственной спеси. Так вот кто, оказывается, в друзьях у Граббе! Недаром мое сердце отказывалось ему верить.

Я стоял у двери, не зная, что делать: я боялся, что Шустов, обернувшись, узнает меня и воспоминание о том, что произошло два года назад, испугает и насторожит его.

Но он не узнал и, наверное, не мог узнать меня: тог-

да, в госпитале, я был худеньким пареньком, почти мальчишкой, да и прошло через его руки с тех пор, видимо, очень много людей. Он равнодушно скользнул взглядом по моей шинели и снова заговорил с Граббе и Жестяковым, уже о чем-то другом, словно перед ним и не лежала умирающая девочка.

Я взял свой узелок и вышел. А выйдя, поспешно перешел улицу и спрятался в подъезде огромного тяжелого кирпичного дома и стал ждать.

Шустов появился вскоре, и не один, а с Граббе. Одет доктор теперь был не в ту свою роскошную бобровую шубу, которую я помнил, а в жиденькое, подбитое ветром пальтецо, на голове — шапка пирожком, какие любили тогда носить адвокаты и артисты.

Я пошел следом за ними. Я ненавидел Шустова и Граббе, ненавидел острой и болезненной ненавистью, и именно эта ненависть заставила меня шагать следом за ними. У Никитских ворот в те годы была аптека, они зашли туда, — как я узнал позже, звонили в больницу относительно Оли. Потом, подняв воротники, зашагали вниз по Большой Никитской. У дома 22 остановились и, посмотрев по сторонам, скрылись в подъезде.

А я, дрожа от боли в закоченевших ногах, пошел назад, к дому Жестяковых. Алексей Иванович открыл мне, судорожно покашливая, в глазах у него блеснули слезы.

— Неужели потонет наш Кораблик, Данил? — спросил он, и губы у него перекосились. — И в больнице, наверно, не смогут спасти. Да и зачем? Чтобы мучилась и проклинала жизнь? Ах, боже мой, боже мой...

## НОЧНАЯ ОБЛАВА

Когда я пришел на Лубянку, Роман Гаврилович сидел над какими-то списками, сметами и ведомостями. Это и в первый раз удивило меня: мне казалось, что работа в Чека — непрестанная погоня за вооруженными врагами советской власти, за бандитами и контриками, шпионами и диверсантами, стрельба и постоянные опасности, героизм и подвиги, о которых потом складываются легенды.

Отодвинув бумаги, Роман Гаврилович усадил меня на колченогий стул, закурил и, задумавшись, долго смотрел в заледеневшее окно. Потом задавил сигарку в консервной банке, стоявшей на столе, заговорил:

— Так вот, дорогой Данил, работать станешь у нас... Прежде всего — не спускай с этих Крабов своего пролетарского глаза. Есть у нас в этом смысле крепкие подозрения. Д-да. А нынче ночью пойдешь со мной по другому делу. Предупреждаю: работа тяжелая и ответственная и требует...

Я перебил:

— Я, Роман Гаврилович, любую опасность...

Он усмехнулся, сквозь пушистые усы блеснули зубы, голубоватые глаза иронически прищурились.

— Нынешнее наше дело, Данил, требует от нас прежде всего любви к человеку. Да! И подвигов особенных с нас не спросят, никакого не будет геройства; ни стрельбы, ни бомб, друг, пожалуй, не предвидится. — Он помолчал, принялся складывать бумаги. — Говоришь, была у тебя сестреночка?

— Да, Сашенька, Подсолнышка.

— И ежели бы не померла, что бы сейчас с ней было? А? — грустно спросил Роман. — Может, как тысячи и сотни тысяч сирот, шаталась по улицам в отрепьях и воровала на Сухаревке да на Арбатском рынке картошку, ковырялась в помойках?.. А? Война осиротила многие тысячи девочек и мальчишек, и сколько из них уже померло голодной смертью, зачало в больницах, позамерзало на вокзалах и в поездах, напоролось на ножи во всяких воровских притонах. Счету нет! А ведь среди них, гляди-ка, были бы, может, и новые Михайлы Ломоносовы, и новые Пушкины, и бесстрашные борцы за счастье народное... А? Тяжелое досталось нам наследство. И пришло время с этим наследством кончать.

Я молчал, не зная, что ответить на это неожиданное вступление. Я вспоминал детишек с мертвыми или жадными глазами, что бродили по улицам городов и сел, шаря кругом взглядом в поисках всего, что можно было бы жевать, есть, глотать; вспоминал маленький, закутанный в материнскую шаль трупик двух- или трехлетнего ребенка, что лежал под забором у какого-то вокзала лицом к

падающему нетающему снегу; вспомнил, как голодал и замерзал сам.

— А на Волге, — продолжал Роман Гаврилович, болезненно жмурясь, — народ вовсе голодной смертью погибает, и нет ее чем остановить, нет чем укоротить. И отсюда опять по всем дорогам-путям течет рекой эта сиротская детвора, ищет себе кусок хлеба, пожрать ищет... Жалко. Слов нету, что поднимается в сердце... — Он тяжело вздохнул, достал кисет, закурил, окутался облаком дыма. — И вот сразу же после революции решили Владимир Ильич и наш Феликс<sup>1</sup>: отнять у смерти, отнять у гибели этих детишек, эти цветы человеческие, накормить и напоить их, одеть и согреть... И чтобы снова выучились они смеяться. Потому, ежели не для человеческого добра, то для чего же тогда была революция, за что же тогда реки кровавые пролиты?.. И собрал нас тогда Феликс по Ильичеву поручению и все это высказал. Давайте, дескать, спасать детвору, это наши наследники, это те, кто после нас останутся и коммунизм построят. И они нас потом добром вспомнят. А и не вспомнят ежели — самим нам помирать с безгрешной совестью легче...

Достав из кармана большие часы, Корожда мельком взглянул на них, спрятал, потянулся к стоявшему на столе телефону.

— Яков? Ну так, значит, в двенадцать. Передай Григорьеву, его что-то на месте нет. Да. А? Да вот прихватим еще одного паренька. О грузовике позаботься... Да, думаю, будут там здоровые паханы, возможно оружие... Ну, жду. Да, на Бородинском мосту. Добро. — Положил телефонную трубку и встал. — А теперь пойдем, Данил, надо тебе талоны в столовую выправить. Жрать-то ведь надо... Карточки получишь завтра. И вог поглядишь ночью, какая веселая у меня работенка. И какая она для детей необходимая...

На всю жизнь я запомнил тот ночной поход. И не потому запомнил, что был он опасен, а потому, что в одну ночь я увидел столько изломанных чуть не с колыбели жизнью, сроднившихся с преступлениями, с той страшной ржавью, что неумолимо разъедает человеческую душу. Много лет позже, когда я смотрел «Путевку в жизнь»,

<sup>1</sup> Феликс Эдмундович Дзержинский.



я как бы снова пережил ту ночь, но в кино это не было так страшно, — утешали титры, шедшие впереди фильма: режиссер такой-то, оператор такой-то, в главных ролях такие-то. Значит, игра, неправда. И те, кто не видел всего этого в действительной жизни, могли легко утешить свое вдруг затосковавшее сердце: да все это неправда, все это снято в павильонах «Мосфильма», эти люди, прожившие перед нами на экране кусок своей горькой жизни, — и Мустафа, и Свист, и Жиган, и другие — могли в самом деле и не быть такими несчастными... А по правде, те, кого мы видели в ту ночь, были во много раз несчастнее, хотя и не понимали всего ужаса своей жизни, не могли увидеть той смертной ямы, на краю которой стояли...

В полночь мы с Романом подходили к Бородинскому мосту. Город был погружен во мрак, редко где горели уличные фонари, и если бы не снег, трудно было бы что-нибудь разглядеть. Пока мы невдалеке от моста ждали товарищей, в серой, изодранной мешковине туч блеснул бессильный и словно провинившийся в чем-то осколочек месяца. В скользящем, тающем свете мгновенно выросли перед нами белые и серые полотнища стен, продырявленных бесчисленными черными, как могилы, отверстиями окон. Трудно, невозможно было поверить, что в глубине этих маленьких черных пропастей бьются чьи-то сердца, дышат чьи-то тела, кто-то сонно вздыхает и кто-то любит друг друга. Мертвый город, залитый мертвым светом, и только скрип снега под ногами, громкий, слышимый, кажется, за тысячи верст...

Вскоре к нам присоединилось еще двое в штатском и еще двое. Лиц я разглядеть не мог; судя по бодрому и звонким голосам, это были молодые ребята. Перекинувшись несколькими едва слышимыми словами с Романом, по два человека пошли через мост. Белый, ледяной, едва угадываемый простор реки неподвижно стыл за чугунными перилами моста, смутно вырисовывалось вдали тускло освещенное здание Киевского вокзала: там, у входов, горело два электрических фонаря. Изредка жалобно и тревожно гудели в снежной мгле паровозы.

Я шагал рядом с Романом, силясь представить, что ожидает нас там, куда мы идем сквозь эту дышащую льдом и одиночеством ночь. Спрашивать не хотелось, да,

наверное, Роман и не стал бы говорить, отделившись каким-нибудь коротеньким «увидишь сам».

Тогда я не знал ни района, ни названий улиц, по которым мы шли, мне кажется, что мы прошли с полкилометра по Большой Дорогомиловской и свернули в темный и косой переулок, потом снова еще и еще раз сворачивали куда-то.

Здесь мы шли, уже не разговаривая, никто не курил, шли, осторожно прислушиваясь к скрипу снега под ногами, к далекому лаю собак, к каждому звуку, доносившемуся со стороны.

Низенькое двухэтажное здание возникло перед нами, словно из небытия; здесь, у стены, нас поджидали ушедшие вперед товарищи. Едва различимая черная труба втыкалась в снежное небо. По этой трубе угадывалась либо прачечная, либо баня. На завтра я узнал, что это действительно была баня, в нее «загоняли» для дезинфекции и помывки приехавших на Киевский вокзал с воинскими эшелонами. Кочегаром в бане работал ее бывший владелец с весомым купецким именем, какие любил давать своим героям Островский: не то какой-то Пров Силыч, не то Сила Титыч, что ли. Позже, на следствии, он показывал, что он уступал кочегарку на ночь вора и беспризорным, боясь их угроз, — кто знает, может быть, это была правда, а может, его прельщала та жалкая мзда, которой ему платили за теплый ночлег: кусок хлеба, щепоть махорки, стакан мутного, добытого на Сухаревке самогона...

Корожда негромко свистнул, и почти тотчас же из темноты, из-за угла, вынырнула низенькая мальчишеская фигура в кацавейке и треухе с болтающимися ушами, лица совсем не видно, только глаза блестели, словно осколки стекла.

— Как? — спросил Роман.

— Человек сорок.

— Может, подождать — еще набегут?

— Кто знает. Конечно, еще и по вокзалам и по домам промышляют...

— Ладно. Подождем еще час.

Мы ушли на Киевский вокзал и от нечего делать бродили там среди вповалку спящих беспокойным сном людей. Спали солдаты с давно не бритыми, словно вырублен-

ными из серого грязного камня лицами, с огромными, как лапти, мужицкими и рабочими руками, спали женщины, прижимая к себе узлы и детишек, спали девушки, с худенькими красивыми лицами, спали бородатые мужики, намертво стиснув котомки и узлы. А между спящими то и дело мелькали темные, шустрые тени: это охотились за ночной добычей беспризорные — воришки. Мы задержали троих и отвели в дежурную с тем, чтобы завтра их отправили в детприемник.

— А-а-а! — устало махнул рукой небритый красноглазый дежурный. — Все равно через день здесь будут. Их же теперь как вшей!

Через час мы вернулись к бане. В подвал, в кочегарку, можно было проникнуть через дверь по каменной лестнице и через окно, куда сгружали дрова и уголь. Оставив у окна и двери по два человека, мы стали осторожно спускаться. За железной дверью глухо гомонили голоса, кто-то мурлыкал песню, в узенькую, как лезвие, щель пробивался тусклый, едва различимый свет.

— Яша, ты пока здесь. Григорьев, Данил, за мной!

Корожда осторожно открыл ржаво запевшую дверь, мы перешагнули высокий порог и остановились, разглядывая открывшуюся нам тонущую в дыму картину.

Длинный сводчатый подвал, неровный желобчатый потолок, пересеченный впаянными в него ржавыми рельсами. Несколько огромных, покрытых ржавчиной чугуновых котлов: в них подогревалась вода. Почти у самой двери, рядом с топкой, котел поменьше: над его огромной и сейчас закрытой дверцей тускло блестел круглый стеклянный глаз манометра и стеклянные трубки водомеров. От этого котла с десятков труб шло в глубь подвала к другим котлам: по ним подавался горячий пар, нагревающий воду. Толстые, как бревна, трубы ползли по полу, тянулись по стенам, уходили в бетонный, исполосованный рельсами потолок. Все это едва просматривалось в жалком свете, источник которого сразу было трудно найти. Слева, у низкого и широкого окна, сейчас закрытого железной ставней, громоздились беспорядочно наваленные кучи дров, из щелей вокруг ставни врывались в подвал белые струи морозного пара. Вдоль котлов сидели и лежали люди в отрепьях, из слитного шума голосов иногда

вырывалось какое-нибудь громко сказанное слово. Между котлами и возле них спали люди, положив под голову березовое полено или какой-нибудь узел. Было душно, как в бане.

Через минуту я рассмотрел, откуда сочился в эту душную, пропахшую потом и нищетой тьму робкий, трепещущий свет. В десятке шагов от нас сидело кружком несколько оборванцев; на стоявшем рядом чурбаке в пустой консервной жестянке теплились три или четыре тоненьких восковых огарка, видимо украденные где-то в церкви. Когда кто-нибудь из сидящих взмахивал рукой, трепетный свет кидался в сторону, словно хотел убежать, тени игроков металась по стенам и потолку. Мальчишки играли в карты, в бунт.

На нас никто не обращал внимания, каждый был занят своим. В глубине, между котлами, горело еще одно такое же примитивное самодельное паникадило, там трое ребят и одна девчонка что-то ели, черпая по очереди корками хлеба из консервной банки. Кто-то бормотал во сне, кто-то стонал. Это напоминало вокзалы, где я две последние ночи ночевал.

Я не представлял, что же мы будем здесь делать, что мы можем сказать этим мальчишкам и девчушкам, одетым в лохмотья, с испитыми, худыми и уже тронутыми пороком лицами. В глубине души поднималась щемящая, не знающая границ жалость к этим полурастоптанным маленьким человеческим жизням: большинство из них, вероятно, были сиротами, и, может быть, не у одного из них отец сложил голову под беляцкой шашкой или вражеской пулей. И, словно они были только что сказаны, в моей памяти прозвучали слова: «Ежели не для человеческого добра, то для чего же тогда была революция, за что же тогда кровавые реки пролиты?.. Отнять у смерти, отнять у погребели этих детишек, эти цветы человеческие, накормить и напоить их, одеть и согреть. И чтобы снова выучились они смеяться»... Так, кажется, сказал Корожда.

Мы долго стояли молча. Лица детей, изможденные, серые, словно присыпанные пеплом, казались бы мертвыми, если бы их не искажал азарт игры. Старые, засаленные карты падали с глухим и тупым стуком на ящик, заменявший стол, в шапке лежали скомканные деньги — банк.

Корожда осторожно переступил через чьи-то ноги, но в этот момент кто-то крикнул в дальнем углу:

— Ребята! Кажись, Васька Лапоть помер!

Игроки оторвались от карт, один из них, парень лет четырнадцати, с измятым, поцарапанным, но когда-то, наверное, красивым и живым лицом, встал, прошел в угол, откуда кричали, сказал на ходу:

— Туда ему, задохлику, и дорога... Где он тут? — Это был один из главарей этого бездомного мальчишеского братства. Наклонившись, он потрогал, потряс лежавшего на полу. — Жмурик! Все ждал, дурачок, мамка за ним придет. Вот и пришла.

Мы стояли у двери и молча смотрели, как двое ребят по команде поцарапанного парня поволокли умершего и положили возле топки.

— Колеса надо снять, хотя и рваные. Сгодятся, — негромко сказал один. — Все равно Тит сымет... — И, присев на корточки, принялся стаскивать с мертвого ботинки

Как потом оказалось, в ночлежке это была не первая смерть, и Тит, чтобы избежать неприятностей, просто-напросто засовывал трупы в топку, закладывал дровами и сжигал. «Не возить же мне эту падаль на Ваганьково!» — так цинично и нагло усмехался он на следствии, когда Корожда спрашивал его, как у него поднималась на такое дело рука. Вообще это был законченный мерзавец; про таких принято говорить: негде пробу ставить. Толстый, несмотря на царившую кругом голодуху, краснотубый, с веселыми и наглыми глазами.

— Мне бы, дорогой товарищ, ежели по справедливости, — усмехался он, — памятник бы поставить, благодарность бы от советской власти за такое дело. Сколько голодранцев я за зиму от холодной смерти спас — не сосчитать... А если и умер кто, так без меня он куда раньше бы загнулся...

Подробности выяснились только на следующий день, а тогда мы стояли у самой двери и, стиснув зубы, смотрели. Разув мертвого, ребята обшарили его карманы.

— Чего табачишко пропадать будет...

В карманах умершего оказались какие-то бечевочки, пустой флакончик и несколько разноцветных стеклышек: он, этот маленький человечек, прибранный смертью, был

еще настолько ребенок, что ему еще надо было во что-то играть...

Роман зажег фонарик и, наклонившись над телом, открыл лицо, крошечное, с заострившимися, птичьими чертами, давно не мытое. Глаза закрылись не совсем: маленькие тусклые серпики белков виднелись из-под неплотно сжатых век, казалось, малыш подмигивает.

Роман Гаврилович оглянулся на меня:

— Видал?

В подвале между тем наступила тишина, все смотрели в сторону двери, где ползал по стенам и по полу круг света. Исцарапанный парень неожиданно сильным ударом сбил жестянку со свечами и прыгнул к окну с криком:

— Лягаши!

— Погоди, Серый! — обернулся Корожда. — Там хода нет. Погоди, поговорить надо...

Он сделал несколько неторопливых шагов и посветил прямо в лицо парню, и тот, ослепленный, беспомощно топтался возле кучи дров, сваленных у окна, и криво улыбался.

Оказалось, что полгода или год назад Серов, или, как его звали «свой», Серый, уже побывал в руках у Романа, попав в одну из облав на вокзале, и был направлен в колонию. Но и в колониях тогда жилось и голодно, и холодно, — бежал, «ушел».

Роман Гаврилович посветил фонариком во все стороны — отовсюду смотрели испуганные и недружелюбные лица: мы для этих бездомных мальчишек и девчонок были «лягашами». Кое-кто стал пробираться поближе к двери и окну, но Корожда предупредил:

— Вот что, ребята... снаружи — и у двери, и у окошка — стоят наши, уйти отсюда никому не дадим. Через полчаса придут машины, поедете начинать жизнь заново... Неужели же каждому из вас хочется помереть вот так, как умер этот Васятка Лапоть? Не поверю... Оденем вас и обуем...

— И запрете в кичман? — крикнули из темного угла.

— Если будете убегать — обязательно запрем... Мы хотим, чтобы вы стали людьми...

Кто-то свистнул и длинно матерно выругался...

— Это и я умею, — вздохнул Роман. — Когда в

матросах служил, мы не такие пули отливали. Хочешь, отолью? А вообще, черт с вами, не стану я вас уговаривать. Неохота, да и пользы в том нету. Я вот хочу Серову несколько сказать... Я ведь к тебе в колонию, Серов, приезжал... Когда отравили тебя, я, как и договорились, стал наводить справки о твоём батьке. Ну, дело это трудное, такая кругом неразбериха... Но мне удалось узнать...

По исцарапанному лицу парня прошла тень, глаза заблестели остро и пытливо. Но он ничего не спросил.

— Так вот, дорогой мой Серый, был бы жив твой батька, и вся твоя житуха, наверно, пошла бы по-другому, потому что был он настоящий человек... О матери ничего не узнал, видно, погибла твоя мать... Много людей погибло за эти годы... А вот про отца...

Многие ребяташки подвинулись ближе.

— Был твой батька, Серов, самый настоящий, подлинный коммунист и жизни своей за революцию не пожалел... Было это в шестнадцатом году, когда только еще готовилось вооруженное восстание... Для восстания нужно было оружие. Батька твой и еще двое с ним везли для сибирских товарищей это оружие. И то ли какая сволочь выдала, то ли просто по несчастному случаю — схватили их. Ссадили с поезда. И тут же, возле самой насыпи, раздели, а мороз был градусов сорок. И тут же, поморозив, и убили их на краю открытой могилы. И, когда собрались они стрелять, тут Серов и крикнул: «Погодите, палачи! Есть у меня Витька. Он с вами поквитается за мою жизнь!» Вот и поглядел бы он теперь на тебя. А? И сказал бы: «Разве за то я свою молодую жизнь отдал, чтобы Витька стал вором?» А? стыдно, Серый, перед памятью батьки твоего мертвого стыдно. И мне за тебя стыдно...

Сунув фонарь за борт шинели, достав кисет, Роман Гаврилович принял, ни на кого не глядя, сворачивать одной рукой папироску, чиркнул зажигалкой, прикурил. Потом, вскинув взгляд, протянул кисет Серову:

— Кури...

И тут напряженная тишина взорвалась истерическим криком:

— Врешь! Врешь ты все! Дешевка! Купить хочешь! — кричал, чуть не бросаясь на Корожду, Серов. — Все вы продажники, лягаши!

Мне казалось, что он не выдержит и обязательно бросится на Романа Гавриловича. Тот продолжал молча, задумчиво курить.

— Ладно, — сказал он, когда Серов замолчал, размазывая по щекам неожиданные слезы. — Вот приедем, я тебе документы покажу...

Снаружи затарахтел мотор, в дверь выглянул оставшийся снаружи Яша.

— Прибыли, Роман Гаврилович.

— Ну, пошли... А ну, давай, братва, выходи. Да смотрите без озорства чтобы.

Беспризорников погрузили в две крытые автомашины и увезли, а мы с Романом остались в подвале: надо было дожждаться «хозяина» этой «гостиницы» и отправить в морг труп Лаптя.

Москва тех лет была наводнена беспризорниками, и такие облавы, как я только что описал, устраивались каждую ночь. Дети распределялись в основном по подмосковным колониям, но при первой возможности бежали оттуда на «волю»: таких колоний, как у Антона Семеновича Макаренко, которые будили в ребятах любовь к труду, были единицы, а бездомных детишек десятки и десятки тысяч. В воровских притонах и ночлежках дети становились помощниками старых воров — рецидивистов, становились стремщиками и домушниками, приучались курить и пить спиртное, то, что можно было достать; приучались нюхать кокаин, постигали тонкости блатного ремесла. Своеобразное соревнование в лихости, дерзости и бесшабашности, своеобразная воровская романтика, презрение и к своей и к чужой жизни, жестокий воровской «закон» — все это прокладывало прямую дорогу к преступлениям, к дракам и поножовщине.

Это были, наверное, самые трудные и горькие страницы из того, что пережила в те годы наша разрушенная войной страна.

Поздно вечером на следующий день, когда я сидел в комнате, где работал Корожда, туда зашел Дзержинский. Я до этого еще ни разу не видел его. Юношески стройный, тонкий и высокий, в накинутой на плечи длинной кавалерийской шинели, он вошел стремительно, посмотрел на пустые столы, подошел к Корожде, поздоровался за руку.



протянул руку и мне, — внимательно и пытливо глянули на меня умные, глубокие глаза.

— Наверно, Костров? — спросил он, задерживая на мгновение мою руку.

— Он самый, Феликс Эдмундович, — ответил Корожда, а я смутился и ничего не сказал и только молча смотрел.

Дзержинский устало присел на край стола.

— Закурить есть, Гаврилович?

— Есть, есть, Феликс Эдмундович, — заторопился Корожда, доставая кисет. — Самосад.

Они закуривали, а я смотрел на тонкие нервные руки Дзержинского, на его пышные легкие волосы, на глубокую морщинку, вертикально разрубившую лоб.

— Да-а, — вздохнул он. — Длинной шеренгой тянутся раскрытые заговоры и восстания, Роман Гаврилович... Очень длинной. И конца им пока не видно. Хорошо, что пролетариат выделил для работы в Чека лучших своих сынов. — Он встал, потянулся. — И неудивительно, что враги так бешено ненавидят нас: их ненависть вполне заслужена нами. Можно гордиться ею, можно гордиться нашими героями и мучениками, погибшими в борьбе... Ну, желаю успеха. Как у тебя, Данил, с жильем? Карточки ему выдали, Гаврилович?

— Все сделано, Эдмундович, не беспокойтесь...

Когда Дзержинский ушел, Роман Гаврилович долго смотрел на дверь, потом усмехнулся.

— Это у нас называется докторский обход...

В те дни чекистов на Лубянке было немного, человек сто — сто двадцать, не больше. Матросы, как Корожда, одетые в засаленные, прожженные бушлаты и кожаные куртки, солдаты с глазами, в которых, казалось, застыл ужас войны, рабочие с черными от металла и машинного масла руками, с лицами, обожженными у топок и вагранок, одна или две женщины в простеньких пальтишках и платочках. Я сталкивался с этими людьми в коридорах и в коридорах же натывался на тех, кого вели с допроса или на допрос, задержанных спекулянтов и контриков, — все еще тянулась тайная война, все еще были люди, которые верили, что советская власть вот-вот падет... Эти шли, посверкивая злыми глазами, старательно запахивая

полы дорогих шуб или чиновничьих и офицерских шинелей, дрожа губами, вытирая пот. За ними сзади шагал какой-нибудь молоденький солдатик, и винтовка с прижатым штыком караулила сзади шаги задержанного...

В тот вечер Роман мне рассказывал о Дзержинском, которого на Лубянке за глаза звали Отцом, звали даже те, кто был значительно старше его. Одиннадцать лет провел Феликс Эдмундович в тюрьмах, на каторге и в ссылке, и из последней тюрьмы в феврале семнадцатого его освободили московские рабочие. Были у Железного Феликса жена и сын, родившийся в одной из камер Варшавской цитадели.

Много лет спустя я случайно натолкнулся на томик писем Дзержинского из тюрьмы жене, томик этот и сейчас лежит у меня на столе. И в часы, когда стучатся в сердце воспоминания, когда нахлынут раздумья или сомнения, я люблю перелистывать этот томик, и в скупых и чистых строчках, написанных когда-то Дзержинским в тюремной одиночке, я всегда нахожу поддержку и успокоение. Он писал о сыне:

«Не тепличным цветком должен быть Ясь. Он должен обладать всей диалектикой чувств, чтобы в жизни быть способным к борьбе во имя правды, во имя идеи. Он должен в душе обладать святыней более широкой и более сильной, чем святое чувство к матери или к любимым, близким, дорогим людям... Он должен понять, что и у тебя, и у всех окружающих, к которым он привязан, которых любит, есть возлюбленная святыня, сильнее любви к ребенку, любви к нему, источником которой является и он, и любовь, и привязанность к нему. Это святое чувство сильнее всех других чувств, сильнее своим моральным приказом: «Так тебе следует жить, и таким ты должен быть»... Надо обладать внутренним сознанием необходимости идти на смерть ради жизни, в тюрьму ради свободы и обладать силой пережить с открытыми глазами весь ад жизни, чувствуя в своей душе взятый из этой жизни великий, возвышенный гимн красоты, правды и счастья...»

И, хотя я видел Дзержинского всего несколько раз и всегда вот так, мельком, я никогда не забуду того удивительного, ясного и мужественного человека.

## НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА

Утром я снова пошел к Жестяковым. В моей памяти, словно выжженные огнем, горели слова Дзержинского.

Дверь открыл Алексей Иванович, седой, всклокоченный, в наброшенной на плечи шубе.

— А-а-а-а! Ну, проходите, проходите в мою пещеру, воин... Что-то вас не видно. Порядки, поди-ка, наводите на завоеванной земле? Да?

В комнате холодно, на стеклах окон — ледяная броня. Тахта, где спала Оля, пуста, только ворох одежды да развернутая большая книга — на страницах летают пестрые тропические бабочки. На столе в беспорядке — листы чертежей. Алексей Иванович, видимо, работал, хотя и считал свою работу бесполезной по тому времени и ненужной. Я тогда уже знал, что он инженер-энергетик, что по его проектам построены две или три электростанции. Но с самого начала войны он ничего не строил.

— Как вы? — спросил он.

Я рассказал ему о ночной облаве, рассказал про бесплатное кормление детей, на что тратились в те годы десятки миллионов золотых рублей.

— Так-так, — протянул Алексей Иванович. — А Кораблик наш...

— Что с ней? Жива?

— Пока... Все мы пока живы... Только прозрачная стала, как вазочка хрустальная...

Я шел к Жестякову с надеждой, что он позволит мне жить у него, но, увидев в пепельнице нервно смятые окурки Граббе, решил, что не стоит об этом говорить: не выйдет. Да и не насторожит ли это Граббе?

Сидя у Жестякова, глядя на его воспаленное больное лицо с синеватыми мешками под глазами, на не гнушился от холода руки, я вспомнил о крошечном клочке бумаги, приклеенном на двери: «сдаеца угол», в том самом доме, куда в прошлый раз вошли Шустов и Граббе. Если удастся снять этот «угол», я, может быть, окажусь еще ближе к тому «змеиному гнезду», которое занимало теперь все мои мысли.

— Вы почему же не топите, Алексей Иванович? Или уже весь паркет сожгли? — спросил я, глядя, как

он старательно укутывает ноги обрывками старого одеяла.

— Паркет? — переспросил он, словно возвращаясь откуда-то издалека. — Жалко. А вдруг Кораблик снова причалит к моим одиноким берегам? А вы? Как вы с жильем? Устроились?

— Да, да...

Я попрощался, ушел. На Большой Никитской в доме № 22 объявление о сдаче угла все так же белело на двери. Я вошел в холодный, промерзлый коридор. Что-то, гремя, обрушилось под моими руками, и в ответ на этот грохот впереди обозначился светлый четырехугольник двери. Темный силуэт человека вырисовался на пороге, негромкий тенорок спросил:

— Кто тут? Проходите поближе, а то со свету не видеть ничего.

Я подошел. Человек с длинным худым иконописным лицом, со светлыми волосами, схваченными, по обычаю мастеровых, ремешком. Поверх черной косоворотки — меховой жилет.

— Насчет угла? — переспросил он. — Это вот у соседа, у дворника... Ферапонтыч!

Из-за облезлой двери, с которой свешивались лохмотья войлока, никто не ответил, железная скоба на двери белела инеем.

— Должно, на промысле старый, на Сухаревку ударился... Где же еще ему и быть? Да вы войдите, служивый, погрейтесь, подождите, авось вот-вот явится. По нынешнему-то климату много не набегаешь... Осерчал господь...

В большой квадратной комнате по всем стенам висели столярные инструменты: фуганки, рубанки, шерхебели; за перекладинами сверкала сталь долот и стамесок, на деревянных штырях висели деревянные и железные струбчинки. Маленький верстачок прижался в углу под заледенелым окном. Рядом с печкой-голландкой висел, колыхался ситцевый полог, за ним угадывалась кровать, а левее печки в углу над чисто выструганным столом висели, темнели иконы.

Хозяин мне понравился: в нем было добродушие, издавна свойственное рабочему человеку, ремесленнику.

Он подвинул мне поближе к печке табуретку, смахнул с нее опилки и пыль.

— Садись, служивый. Отвоевался, стало быть? Не глядя, что молодой. А мне вот не довелось, на ногу я негож: ступня, говорят, плоская. Ну и бог с ней, ежели плоская... Я не больно-то до нее охочий, до войны... Кипяточку согреть? А?

Он собрал возле верстака стружек, подкинул в печку, весело заиграло пламя.

— Раньше-то больше колыбели да кровати двуспальные ремесленничать доводилось, а теперь вот гробами живем. (Я только тут заметил рядом с верстаком крошечную крышку детского гроба.) Кому смерть, кому хлеба кусок. Так-то мы вообще по театральному делу всю жизнь столярим да плотничаем. И отец мой, и я, и сын... Да театры-то теперь тоже не больно кормят. Только что доску и сопрешь от великой нужды... Совестно, конечно, и грех, а чего сделаешь? — Безостановочно говоря, он споро и быстро двигался по комнате, налил из ведра в чайник воды, поставил на вделанную в печку плиту. — Никак не думать было, что и эту зиму перешагнем, а вот... идет... Пришлось, однако, хлебнуть горюшка-то? Что же, у тебя никого в Москве, видно, нету, ежели угол снимать думаешь?

Я коротко рассказал ему о себе. Он сидел, вздыхал, теребил реденькую светлую бородку, иногда подбрасывал в печурку горсть стружек. Потом он рассказывал о Большом театре, где работал вместе с отцом с мальчишеских лет. Для меня театр тогда был совершенно неведомым, таинственным миром: что ж, мне и довелось-то в те мои годы видеть только что ярмарочные балаганы в моем родном заштатном городке. А Степан Петрович рассказывал о театре своеобразно, интересно, он видел его как бы изнутри, видел и наблюдал его изнанку. Когда заговорил о Шаляпине и Собинове, чуть не заплакал от умиления.

— А Федор-то Иваныч, — певуче говорил он, — однажды мне целую четвертную дал. Ни за чего, просто так. Идет это со сцены во всем царском и сам чуть не плачет. А тут я навстречу. Он мне: «Ну, братец, видел?» А я хотя и не больно-то видел, «Как же, говорю, Федор

Иваныч, видел». — «Вот то-то!» — говорит и без других слов полез в карман под царскую ризу свою и: «На тебе, помни, говорит, кто такой Шалапин»... А четвертная в те годы — деньги! Корову купить можно...

Когда я, так и не дождавшись в тот раз своего нового квартирного хозяина, собрался уходить, Степан Петрович, осторожно поглядев на дверь, негромко сказал:

— Только ты смотри, парень... он, Ферапонтыч-то, немного того, — и покрутил возле лба пальцем. — Иногда вроде на него стих такой тяжелый находит... Покойники ему мерещатся. Ну, ты не принимай во внимание, он старик смирный...

Мне хотелось узнать, к кому же в этот дом ходит Граббе и здесь ли живет Шустов. Я осторожно спросил Петровича, кто еще живет в этом подъезде.

— Да ведь как сказать, — пожал он плечами. — Разный народ. Семь пар чистых да семь нечистых — так, что ли, определить. Раньше-то мундиры всякие чиновные носили да шляпы со страусовыми перьями, а теперь по одежке-то не больно и поймешь. Конечно, кто побогаче да познатнее, кому советская власть вроде пятой ноги собаке, те убралась, по всяким заграницам, поди-ка, па-сутся... А кто и остался — сермяжечкой какой свое звание прикрыл и живет себе, притаился... Мне по моему ремеслу раньше приходилось захаживать: то полки для книг поставишь, то дверь или там окно подстрогаешь, а нынче книгами больше печки топят, не говоря о полках... Осторожно живет народишко, только что нужда из нор и гонит... А так — тоже люди, можно сказать, человеки...

Я попрощался, сказал, что зайду в тот же день попозже, так как ночевать по вокзалам не хотелось, а идти было некуда.

— Приходи, приходи, — сказал столяр, провожая меня. — И к нам заходи, со старухой тебя познакомлю, с сыном, он у меня парень тоже ремесленный, талант, так и поет доска у него под рукой, все равно как птица...

Тем же вечером я снова пришел в этот дом, набродившись по улицам до того, что подкашивались ноги, замерзшись так, что не мог говорить...

Дверь мне открыл огромный, давно не стриженный старик; в глазах у него действительно скользила какая-то безуминка. Глаза были большие и светлые, словно налитые холодной водой, но все время испуганно вздрагивали и хотели оглянуться, как будто боялись кого-то притаившегося сзади. Седая борода во всю грудь, седые длинные волосы, которые старик расчесывал прямо пятерней, крупный, нависающий над ртом нос, беспокойные, всегда чего-то ищущие руки.

Старик оглядел меня с подозрением и поначалу даже не хотел пускать в свое жилье, видимо, смущала его и моя шинель, и буденовка, а ими я тогда особенно гордился.

— Кого тебе? — грубо, но с некоторым испугом спросил он, загораживая своей тушей дверь. — Тут твоего ничего не потеряю.

— Я по объявлению. Насчет угла, дедушка. Жить совсем негде.

— Сирота, что ли? — с недоверием спросил старик, неподвижно стоя в дверях.

— Ага.

— Воевал, что ли? — Ферапонтыч показал глазами на мою буденовку.

И я соврал: повинувшись какому-то предчувствию, отказался от имени, которым дорожил.

— Нет, дедушка, — сказал я. — Это мне в детприемнике выдали.

— Каком еще приемнике?

— Ну вот, куда беспризорных определяют.

— Вон что! — Он еще некоторое время недоверчиво разглядывал меня, но лицо его постепенно успокаивалось, глаза наполнялись покоем. — Работаешь?

— Ага. — И опять солгал: — На вокзале дрова разгружаем.

— И карточки есть?

— Есть.

Старик отступил два шага в глубь комнаты, и я вошел следом, спустившись на три каменные ступеньки. Пахло сыростью, плесенью, еле-еле тлел огонек в глубине жестяной, на низеньких ножках печурки. Широценная деревянная кровать занимала передний угол, возле кро-

вати стоял табурет и на нем — большая икона: Георгий Победоносец, сидя на коне, пронзает копьем извивающегося под копытами змея. А внизу иконы приклеена длинная бумажная полоска, на которой написано от руки печатными буквами: «Да воскреснет бох и растучатся врази иго». В другом углу стоял овальный, на резных ножках старинный столик и за ним — широкая деревянная лавка.

— Тут спать станешь! — Старик ткнул волосатым пальцем в скамью. — И платить чтобы не деньгами, а чего поесть... — Он тяжело сел на свою неприбранную, похожую на берлогу кровать и снова принялся рассматривать меня. — Крещеный аль из жидов?

— Крещеный.

— То-то и оно! — непонятно отозвался старик.

Я снял шинель, накинул ее на плечи, постоял над печкой, стараясь поймать еле ощутимое струящееся от нее тепло. И мне уже хотелось уйти: все здесь было неприятно и неуютно. Но где-то в этом доме, возможно, ютились заговорщики, готовившиеся поднять на Революцию руку. «Проживу», — решил я, присматриваясь к хозяину. Он сидел, тяжело ссутулившись, сунув между колен огромные руки. Глаза под седыми опущенными бровями погасли, губы едва заметно шевелились, — видимо, он, как многие одинокие люди, привык говорить сам с собой.

— Раньше-то у меня пес был, — сказал старик, не поднимая глаз. — Рэксом звали, по-благородному. Наверно, съел кто. Поймали и съели. Знать бы такое дело — сам бы съел, по мясу живот вот как соскучился.

В тот день я получил по карточкам хлеб на четыре дня — двести граммов — и пару маленьких ржавых селедок. Я развернул свой жалкий узелок, присел к столу:

— Давайте ужинать, дедушка.

Ферапонтыч тяжело поднял голову, с изумлением посмотрел на меня, брови его странно шевелились и ползли вверх. Он встал с постели, подошел, постоял возле стола, посмотрел, потрогал пальцем селедку.

— Получил?

— Да. Сегодня выдали.

Старик в раздумье почесал под бородой.



— А ежели выпить? Хочешь? — неожиданно спросил он.

На Южном фронте мне несколько раз приходилось пробовать самогон. Память благодарно хранила ощущение тепла, которое разливалось по всему телу от глотка этой обжигающей, отвратительно пахнущей жидкости. И так я намерзся за последние дни, что, глотнув слюну, молча кивнул.

— Самогон? — спросил я минутой позже.

— Зачем — самогон? Самого Шустова коньяк знаменитейший.

Я посмотрел на Ферапонтыча с удивлением, и он пояснил:

— Это тут один господин бывший торгует. Дом товарищам отказать пришлось, а погребок-то притаил. Там у него на десять лет припасено. Каждый день бутылку на Сухаревку носит — живет как у Христа за пазухой...

Встав на колени перед своей необъятной кроватью, старик сунул руку в дальний угол и вынул оттуда фасонную бутылку с яркой посеребренной этикеткой — в ней янтарно играло вино.

— Ежели ты ко мне с душой, — сказал старик, посмотрев на селедки, — то и я не волк. Вот только посудинка у меня одна и та церковного роду-племени. — Он взял с подоконника синенькую стеклянную лампадку. — Из нее пить — и грех вроде поменьше...

### **«ОНИ! БОЛЬШЕ НЕКОМУ!»**

Странной и неправдоподобной запомнилась мне та первая, проведенная у Ферапонтыча ночь, — словно видел я ее в каком-то кривом, ускользающем от воспоминания сне. Сидели мы у стола. Под низким, давно не белённым, запутиненным потолком горела то чуть ярче, то совсем потухая угольная электрическая лампочка; с нее, наверное, никто и никогда не стирал пыль. Потом, ближе к полночи, и она погасла, изо всех углов к столу поползли тени, шершавые и лохматые.

Я опьянел от первого же глотка коньяку — слишком уж долго я голодал, — и все кругом мне стало казаться

милее и проще. И старый, бородатый великан Ферапонтыч с его светлыми, испуганно ожидающими чего-то глазами и заросшей седыми волосами грудью, и мое прошлое, и мой завтрашний день. «Вот, — говорил я сам себе, — ехал ты, Данилка, в Москву, в такой чужой и огромный город, где пересекаются и переплетаются сотни тысяч и миллионы человеческих жизней, и казалось тебе, что так легко затеряться здесь и погибнуть «и никто не узнает, где могила твоя». А оказывается, здесь, как и везде, много хороших, сердечных людей. Роман Гаврилович, тетя Маша, старый инженер Жестяков, столяр из Большого театра и вот этот могучий и странный человек, который, наверно, одним ударом кулака мог бы убить лошадь». Я чувствовал пьяное умиление и расположение ко всему на свете.

Когда погасла лампочка, Ферапонтыч испуганно повернулся к двери и, торопливо пошарив по подоконнику ладонью, чиркнул зажигалкой, зажег тоненькую восковую свечку. Трепетный лепесток пламени повис в воздухе, освещая прикрывавшую его, иссеченную глубокими морщинами ладонь. И, несмотря на то что дверь была заперта на большой кованый крюк и железный засов, Ферапонтыч со свечой в руке подошел к двери и еще раз ощупал запоры. Потом вернулся к столу, сел. Был он порядком пьян, — видимо, выпил еще до моего появления в его берлоге, и все время одолевало его непонятное мне беспокойство.

Я помнил предупреждение Петровича, что дворник иногда бывает «не в себе». Теперь я объяснял это просто: иногда, наверное, старик прикладывается к бутылке — отсюда и странности его и чудачества...

Несмотря на опьянение, я понимал, что старику не надо рассказывать о себе правду: уж больно неприязненно косился он на мой красноармейский шлем. К счастью, мне и не приходилось много рассказывать, — Ферапонтыч почти все время говорил сам, говорил бессвязно и путано, перескакивая с одного на другое, и как будто и не заботился совсем, слушаю ли я. Я даже подумал, что, наверное, когда был жив Рэкс, старик вот так же разговаривал с ним, а когда пса съели, он мог часами разговаривать со своей тенью, со стенами, с жалким пламенем,

доживающим свою короткую жизнь в черной пасти жестяной колченогой печурки. Когда Ферапонтыч замолкал, в подвальной, заплесневелой тишине его жилья продолжали свою ненужную жизнь только криво повешенные над кроватью ходики, с жестяной дощечки которых неподвижно смотрело в тьму ненавистное мне узкое, с холеной бородкой лицо последнего Романова.

— Почему вы, дедушка, не замажете его чем-нибудь? — спросил я в одну из пауз.

Он посмотрел на меня долгим взглядом, словно прицеливаясь, потом оглянулся на ходики.

— Государь. Помазанник! — сказал он, подняв заско-рузлый палец. — И потом: ежели так — часы встанут. Обязательно встанут! А без часов дворнику как? Вдруг комендантский час или другое что?

Подумав, он еще раз оглянулся на ходики и снова принялся рассказывать о детстве: оно было, вероятно, самой счастливой порой его жизни...

— Еще любил я, помню, на самой на заре, поутру, в небо глядеть. Ночуешь это, бывало, где-нибудь на стогу, а на заре тебя словно кто толкнет в бок: гляди! Ну и глядишь в небо и будто летишь в него, и нету ему ни дна, ни края. И птицы поют. И сеном еще пахнет, будто в бочок с медом глядишь... И облака, словно перины пуховые или подушки из девкиного какого приданого, розовым вышитые, так и плывут и плывут. И думаю я: подика, спят на них ангелы божии и всё глядят на землю, глядят и стерегут... Жену-то, Нютку, толкну в бок: проснись ты, погляди, небо какое, а она разлепит зенки, зевнет и опять свое: спи! Не любил я ее, не лежала душа...

Я слушал глухой этот полупьяный шепот, сосал селечные кости, чужая исповедь текла, не касаясь моего сердца, ничего в нем не будя. Мне хотелось спать, я облокачивался на руку и смотрел на пламя свечи. В его неярком, качающемся свете мне виделись картины моего собственного детства, полунищего и больного, возникали и гасли дорогие мне лица, видимые уже неясно, стертые временем и расстоянием.

— Спишь? — спросил меня Ферапонтыч. — Ну и спи, шут с тобой.

Он встал, тяжело шагая, прошел к кровати, достал из-под нее топор, положил на табурет возле иконы, снова нагнулся и неожиданно для меня достал еще бутылку.

— Спи! — сказал он, возвращаясь к столу. — Ежели что, я тебя разбуджу. А мне никак нельзя спать, они всё лезут и лезут, душат и душат. Я ведь, по правде, почему и угол сдаю, — не могу я один всю ночь от них отбиваться, ни сил, ни сердца моего нету.

Я прилег на скамью, вытянув вдоль стены ноги, укрылся шинелью. Ферапонтыч принес мне еще какую-то дерюжку. И сел рядом на скамью, поближе к столу, касаясь моих колен своим тяжелым и странно горячим телом. Налил себе еще лампадку вина, посмотрел сквозь нее на свет свечи и сразу опрокинул себе в горло, гулко глотнув. И снова заговорил. Его слова едва пробивались к моему сознанию сквозь пелену охватывающего меня сна. А Ферапонтыч все больше пьянел, все несвязнее и непонятнее становилась его запletaющаяся речь.

— ...Потому я ее и жизни решил. И сердце не дрогнуло, словно свинью к пасхе зарезал... В суде спрашивают: «Да как же ты так?» А я говорю: «А чего же ее жалеть, ежели в ней никакого человеческого понятия нету, ежели она вроде травы?»... Строгие все, очкастые, у самого главного полеты золотом насквозь шитые... и губы дудочкой... Все приставал: то скажи, это скажи... «Да пошел, говорю, ты куда подальше, я одному богу ответчик... Виноватый я разве, что рука у меня такая смертельная? Может, я ее только попужать хотел?»

Хмельной сон навалился на меня, все качалось и плыло кругом, будто лежал я не на грубой деревянной скамье в каменной подвальной келье, а плыл на каком-то корабле и парусами над ним летели пышные, вышитые розовым облачка. Потом снилась облава в бане за Бородинским мостом, и какая-то девочка с лицом Оли все просилась: «К маме хочу»...

Проснулся я от сильного толчка в бок, вскинулся и сразу сел, шинель сползла с лавки и упала на пол.

— Вставай! Они! — шепотом приказал мне, глядя безумными глазами на дверь, стоявший рядом со скамьей Ферапонтыч. — Слышишь, по двери шарят? Больше некому быть...

Догорала на столе свечка, стояла вторая пустая бутылка. Сам Ферапонтыч, сжимая обеими руками засаленное топорище, бесшумно, звериными шагами подкрался к двери, приник к ней ухом.

— Они! Больше никому! — И оглянулся на меня налитыми кровью глазами. — Каждую ночь приходят. — Он долго стоял и, склонив голову, напряженно вслушивался в почти могильную подвальную тишину. Потом облегченно вздохнул и опустил сверкнувший отточенным лезвием топор. — Теперь ушли. — Вытер мокрый лоб, вернулся к моей скамейке, устало сел рядом. — Ты, парень, живи со мной. И платы никакой чтобы. Даром живи. А?

— Хорошо, Ферапонтыч.

— Ну и спасибо. Спасибо. Теперь и я спать — ушли! Спи... Светёт скоро...

Снова засыпая, я думал, что, наверное, есть у старика какие-то страшные кровные враги, желающие и ждущие его смерти, — иначе чем же можно объяснить животный ночной страх, совершенно изнурявший это громадное жилистое тело, заставлявший его дрожать и метаться в поисках спасительного угла...

А утром, когда уже в окно подвала пробился холодный снежный свет, произошла неожиданная встреча.

Ферапонтыч спал на своей необъятной кровати, широко расставив ноги в подшитых валенках, выставив вверх седую бороду, когда в дверь негромко, но требовательно постучали. И хотя всего несколько часов назад Ферапонтыч был чрезвычайно пьян, он сейчас же поднялся — настолько могучее это было тело. Накинув на плечи шубняк — в подвале стало очень холодно, — старик подошел к двери, спросил:

— Кто?

— Открой! — негромко отозвался мужской голос.

Я укрылся с головой шинелью, оставив щелку, чтобы рассмотреть того, кто пришел. И до чего же я был удивлен, когда это оказался Шустов, собственной барской персоной. Войдя, он глянул в угол, где спал я, спросил:

— Кто?

— Постояльца пустил. Спит.

Шустов достал из бокового кармана небольшой запечатанный конверт, протянул старику:

— Адрес не забыл?

— Помню, — хмуро кивнул дворник.

— На словах еще скажешь: «Марья Ивановна ждет гостей с подарками». Понял?

— Чего не понять, — по-прежнему хмуро протянул старик, не беря письма. — Только... уволили бы вы меня, Аркадий Полоныч, от всех этих дел. Моя жизнь на земле незаконченная, и ежели вам своей не жалко...

— Не болтай! — Шустов сунул в руки дворнику конверт, и его высокомерное лицо тронула брезгливая и недобрая усмешка. — Тебе, старик, другой дороги нет. Сам знаешь... Значит, так: «Марья Ивановна ждет гостей с подарками». Запомнил? Вечером зайду... Да истопи у меня, не позабудь. Холод собачий.

— Истоплю.

Стараясь ступать неслышно, Шустов подошел к лавке, где спал. Я, осторожно приподнял край шинели. Я плотно прикрыл веки и чуть слышно посапывал. Не знаю, с каким выражением рассматривал он меня, узнал ли, почудилось ли ему что-нибудь знакомое, но он недовольно хмыкнул, шинель коснулась моего лица, и через полминуты тупо хлопнула обитая войлоком дверь.

Когда я снова открыл глаза, Ферапонтыч стоял посреди комнаты и с опаской и тревогой разглядывал конверт, держа его на отлете, как держат змею.

— Сгореть бы вам всем, привязались! — пробормотал он, оглянувшись на меня, сунул конверт под бороду, за пазуху. — Чего же дрыхнешь-то? Сам говорил: на работу...

— А нынче эшелон придет только к обеду. К обеду велели...

— Ну ладно, давай-ка чай с селедными костями пить, больше пока нечего... Хотел было нынче на Сухаревку податься, ан товарищи вроде прикрыли ее, наовсе прикрыли: дескать, одни на ней спекулянты и воры... Теперь по другим толкунам промышлять придется...

Из-под своей необъятной кровати Ферапонтыч набрал небольшую охапку дров и ушел куда-то, а вернувшись, растопил печурку, искоса с тревогой поглядывая на ме-

ня. Причины этой тревоги я понял позже, когда мы уже сидели за столом.

— Я, поди-ка, тут ночью-то по пьяному делу болтал чего? — спросил он, наливая кипяток в ту самую лампадку, из которой мы пили вчера коньяк. — Года, что ли, в том виноватые, сны меня темные начисто одолели... Вот уж какой год каждая ночь — мука чистая. И ежели выпью да не усну — тоже все мерещится и мерещится...

— А чего же мерещится, дедушка?

— Разное тяжелое — сердцу прямо непереносимое. — Он помолчал, подул в лампадку с кипятком. — Видишь ли, парень, когда я молодой был, жену свою из ревности побил, нестерпимо она меня обидела. А она возьми да помри. И вредная же, скажу, баба была — страсть... И даже не жалко: сколько бы она за жизнь нашего брата мужиков переела — не счесть... Ну и дали мне по тогдашнему закону полным ведром, то есть сказать — веревку... — Лампадка скользнула у него из пальцев и чуть не упала, кипяток потек по заскорузлым пальцам: Ферапонтыч как будто и не чувствовал боли. Выплеснул остатки кипятка на раскаленный бок печурки, белая струя пара, шипя, рванулась вверх. Протянул лампадку мне. — Пей...

— Ну и потом? — несмело спросил я.

— Ну не вышло мне тогда помереть, замену мне сделали. А глядишь, и лучше бы... и снов бы таких не было, и топора бы не надо. — Он покосился на кровать: из-под свесившегося с нее тряпья, словно чей-то острый глаз, требовательно посверкивало лезвие.

Дворник встал, кражистый, широкоспинный; стоя лицом в пустой угол, истово перекрестился, повернулся ко мне.

— Ты приходи, парень. Так и будем жить, ты да я... Ты не бойся, я смирный, у меня сердце вовсе окаменелое. Может, я и выпить еще принесу. Придешь?

— Приду.

— Вот и добро. Ключ-то я во рванье на двери у самого порога засовываю. Пойдем, покажу...

Когда я несколькими часами позже рассказал Роману Гавриловичу о своих новых знакомых, он долго хмурился, чесал затылок.

— Да, конечно... Опять какое-то черное гнездо поближе к Кремлю вьют, гады. В самое сердце хотя бы клюнуть... Конечно, Шустова этого забрать можно, не сложность. Раз в Чека сидел да бежал — есть основания. Но тут тогда и все дела. Все, значит, ниточки порвутся, и гнездо, глядишь, так и останется... А их надо всех прищучить. — Сворачивая папироску, Роман Гаврилович подумал, глядя то в стол, то мимо меня, в окно. — И уходить тебе отсюда, Данил, нельзя. Потерпи, поживи, сам же чувствуешь, недоброе там... И пугать их до поры не стоит, рвать надо так, чтобы корней не осталось... Все сначала до тонкости узнать надо. Какая это у них Марья Ивановна? Что за подарки? Если, конечно, сумеешь...

Я молчал. Очень уж не хотелось мне жить в одной комнатухе с Ферапонтычем; я вспоминал, как он разбудил меня ночью, как страшно прыгало отражение свечи в лезвии топора, который он держал, стоя возле меня. Убивать меня ему, конечно, было незачем. Но ведь, если он и в самом деле безумен или нападают на него какие-то припадки, — что с него спросишь. Зарубит, и все.

— Сумею ли, Роман Гаврилович? — неуверенно отозвался я на его вопросительное молчание.

— Надо суметь... Помнишь, что Феликс Эдмундович говорил? То-то! Это же просто счастливый случай, что сама жизнь тебя на них нанесла, на это вражье гнездо... Ты сам посуди, сколько от них беды, сколько самой дорогой крови ими уже пролито. Убили Урицкого, в Леонтьевском переулке в прошлом году, одной бомбой сколько настоящих людей побили да поранили... В самого Ильича два раза били, один раз Каплан, второй раз спасибо Платтен<sup>1</sup> заслонил. А сколько мы погасили таких замыслов, сколько мы оторвали черных рук, не дав им дотянуться до Кремля, — счета нет... И вот теперь... Да они бы, наверно, ничего не пожалели, если бы могли достать до Ильича. Сколько сейчас их по Москве таится да прячется, ищут ходы, готовят на нас смерть... А сколько нашего брата, рядового коммуниста, побито по всей стране — разве сочтешь? Сколько постреляно из-за

<sup>1</sup> Платтен Фридрих (Фриц) (1883—1942 гг.) — швейцарский коммунист, один из основателей Коммунистической партии Швейцарии.



углов, сколько замучено?.. Эх, Данька, Данька... Ну ладно, это дело не нам решать. Опиши все это, как оно есть, я передам. Там и решат...

В этот вечер я пошел с Романом Гавриловичем к нему на квартиру: очень уж хотелось посидеть среди своих, не чувствуя ни неприязни, ни опасности, хотелось отдохнуть душой...

В тесной комнатке, как всегда по вечерам, топилась печурка, тетя Маша варила какую-то похлебку, маленький Гришутка сидел на подушке возле печки и со взрослой задумчивостью смотрел в огонь. Тетя Маша неподдельно обрадовалась мне, словно я и в самом деле был для нее родным.

— Проходите, проходите, — засмеялась она. — Я сейчас вас щами со свиной кормить буду. А? Вот бы небось обрадовались: сколько лет не едали!

Роман Гаврилович был задумчив, по его большому лицу ходили тучи. Он посадил Гришутку себе на колени и поглаживал его по головенке своей широкой доброй рукой.

— Да, Данил, не миновать тебе жить там, — сказал он, когда я часа через два собрался уходить. — Только знаешь что... придется тебе другую амуницию доставать. Уж больно шинелишка да буденовка... Чего их дразнить? Через это таиться от тебя станут. И ты с этим стариком прежде всего дружись, тем более — пьет. Пьяный-то и мать и отца за косушку, бывает, продаст... А поймать их надо, ой как надо. В Питере да в Кронштадте опять гады шевелятся...

## КОНТРАСТЫ

Так я на несколько месяцев поселился в логове Ивана Ферапонтовича Бусоева и только много позже узнал, что это было не настоящее его имя.

Первое время он пугал меня своими ночными страхами и выходками, топором, который каждую ночь клал перед стоявшей на табуретке иконой, пугал своим лютым животным страхом. Было что-то заразительное, гипнотизирующее в ужасе, который охватывал его по ночам, его страх передавался мне, хотя, казалось, мне нечего и некого бояться: временами у меня тоже начинали дро-

жать колени и я отчетливо слышал крадущиеся шаги за крепко запертой дверью, осторожные прикосновения чьих-то рук, тяжелое ожидающее дыхание... Потом немного привык, успокоился и старался успокоить и своего бородатого хозяина, но это мне никогда не удавалось. Я только все больше убеждался в том, что в прошлом дворника жила какая-то темная, тяжелая тайна, за что полагалось возмездие. Шороха приближающихся шагов этого возмездия и пугался он по ночам. Когда позже я узнал о нем все, я невольно съезжился от одного воспоминания, что жил рядом с ним, пил из одной лампадки и ел из одной миски...

Страх все больше овладевал Ферапонтычем, доводил его по ночам чуть не до припадков, и только присутствие рядом живого человека успокаивало его, помогало пережить ночь. Позже я удивлялся: как он мог вообще жить с тем грузом в душе, который сам взвалил на себя, — насколько проще было покончить с собой. Но, видимо, чем ближе человек к последнему черному порогу, тем труднее замахнуться на остаток жизни, тем яростнее цепляется он за оставшееся ему. В молодости это кажется довольно простым.

Я продолжал пристально следить за всем, что делается в доме, надеясь, что случай даст мне возможность узнать подробности жизни Шустова, Граббе и таинственной Марьи Ивановны с ее «подарками». Не об оружии ли шла речь? Из слов Ферапонтыча я уже знал, что на третьем этаже нашего дома когда-то жила женщина, которая была родственницей виннозаводчика Шустова. В ее-то квартире теперь и жил по старой памяти один из его племянников, «мой» хирург, и его жена. Ферапонтыч, однако, не любил рассказывать об этой семье.

Ходил я теперь не в шинели, хотя мне трудно было расставаться с ней даже на время. Утешало то, что она висела на вешалке в квартире Корожды и, приходя к ним, я всегда мог прикоснуться к этому кусочку моего дорогого прошлого. Роман Гаврилович достал мне на складе ЧК невзрачный, но теплый пиджак, шапку-ушанку, старенькие, подшитые валенки. Ферапонтычу я сказал, что променял шинель, потому что в ней неудобно и холодно работать.

Старик относился ко мне со все растущим доверием, я был необходим ему в ночные часы, — так же, вероятно, как раньше был необходим Рэкс, как было необходимо присутствие любого живого, дышащего существа. По вечерам мы пили с ним морковный чай, частенько он доставал водки или коньяку, но напиться до бесчувствия, до самозабвения никогда не мог, любое количество вина было бессильно свалить это огромное, словно вытесанное из каменной глыбы тело.

— Раньше-то я пятерик свободно каждой рукой подымал, — сказал он мне как-то. — И жену-то убил по нечаянности, ударил раз, и нет ее. Тяжелая у меня рука, смертельная...

По вечерам я иногда заходил к Петровичу, познакомился с его женой, маленькой темнлицей суетливой женщиной, с его сыном, парнем чуть постарше меня, тоже и столяром и слесарем, без конца мастерившим что-то на продажу у маленького верстачка в углу. Это был русский, спокойный, неразговорчивый парень с удивительно живыми руками, похожими скорее на руки музыканта или скульптора, нежели на руки мастерового. Он выпиливал какие-то шкатулочки, украшал их красивыми узорами из цветной соломки, делал портсигары, чинил замки, мастерил зажигалки. Я очень любил сидеть рядом с ним и смотреть на его умные, талантливые руки.

Однажды Петрович сказал мне:

— Бросал бы ты, Данил, свою нынешнюю работу. Шел бы к нам в мастерскую. А? Обучу я тебя настоящему, доподлинному делу... Какой ни голод, какой ни холод, а театр наш живет. И будет жить. Вчера «Жизель» играли, завтра «Бориса». И будет у тебя на всю жизнь в руках дело, и напоит, и накормит, и оденет. И вообще, скажу я тебе, несчастный тот человек, у кого ни к чему таланта нет, самый несчастный... И руки ему вроде ни к чему, и голова...

И как-то я зашел с Петровичем в их мастерскую. Столярка театра помещалась тогда в просторном подвальном помещении, наполовину заваленном материалом, досками, брусьями, фанерой. Вдоль стен громоздились незаконченные декорации или декорации, ждущие ремонта. Меня поразило это зрелище, словно я попал в разру-

шенный землетрясением город, где жили одновременно люди всех стран и времен, — так противоречиво казалось скопление разных по стилю вещей и строений, раскрашенных под мрамор дворцовых лестниц и бревенчатых изб, разделанных под камень и мрамор колонн, причудливых беседок и куполов церквей, облупившихся часоленок и величественных замков и колоколен.

— Глядишь? — с гордостью усмехнулся Петрович. — Теперь это что! Прах и запустение. А поглядел бы ты раньше, до войны, какая здесь жизнь играла! Одних мастеров первого класса сколько работало, не считая подручных да подмастерьев... И в живописной тож, и в мебельной... Теперь одни старики и остались, да и те счетом... Видишь, сколько верстаков осиротело. Ровно покойники непохороненные...

Я прошелся по мастерской, заглянул в смежный зал, где была мебельная. В причудливом беспорядке здесь были свалены столы и стулья всех эпох, от дощатого некрашеного деревенского стола до позолоченных, на витых ножках стульев эпохи всяческих Людовиков, затейливые пуфы и гнутые, с лебедиными спинками скамьи, безногие статуи и монументы, троны и колыбели...

— Тут и вовсе никого не осталось, один Николай Прохорыч по старой памяти ходит. И пайка ему уж давать не хотят: дескать, ненужная вовсе стала твоя должность. И то: новой-то мебели не делают, да и ремонта не больно требуют, все еще старым добром живем. Декораций-то да мебели знаешь сколько тут запасено? На сорок, а то и на полсотни спектаклей... А теперь и нам дела тоже не больно много. Ну и приходится не только столярничать, а и всякую там ремонтную мелочь строгать. Там, глядишь, дверь перевесить, там в зале стулья поломали, там истопникам поможешь... Одно время, слышь, хотели дров перестать театру давать: дескать, кому эти все Жизели надобные? Буржуям? Не топить театры, дескать, сами холодом погибаем, школы стоят чуть тепленькие... А Ильич будто сказал: топить. Пусть хотя и немного, а топить, и пусть теперь и рабочий человек на Жизелей глядит. Довольно, дескать, ему под ноги себе, в землю глядеть... Душа, Данил, от театра вот как возвышается, будто крылья ей приделаны.

Петрович осторожно и ласково, словно живое существо, погладил стоявший в самом углу верстак.

— Осиротел? — спросил он негромко и со вздохом повернулся ко мне. — Тут дружок мой без малого полвека стоял, Фомичев Лука, мастер первейшей руки. Вчера схоронили, с голодухи да с горя высох, внучонка у него деникинцы убили, светленький такой мальчоночка был...

С тех пор, когда выдавался у меня час-другой свободного времени, я любил заходить к Петровичу, в театр, и воспоминание о том времени навсегда врезано в мою память: именно там я впервые увидел человека, к которому так требовательно, так жадно тянулось мое сердце. В декабре 1920 года в Большом театре на VIII съезде Советов выступал Ильич...

Я любил бродить по театру, в путанице и лабиринте декораций, среди пахнущих клеем и краской полотнищ, забирался на колосники, откуда, словно оснастка сказочного судна, свешивались веревки и тросы, где пахло пылью и мышами. Стоя на краю сцены, у самой рампы, я смотрел в пустой и потому пугающий, похожий на омут зал.

Несколько раз попадал я в театр и во время репетиций и, робко прижавшись за кулисами, всматривался в ход чужой, таинственной жизни. В театре топили мало, да и, наверное, невозможно было тогда натопить такую махину. Актеры и актрисы репетировали в шубах и пальто, оркестранты мерзли в глубоком провале оркестровой ямы, многие сидели в шапках. И все-таки, несмотря на заношенную одежду и холод, несмотря на голодные, истощенные лица, эти люди делали свое дело с почтительной торжественностью, словно приносили жертву требовательному и любимому божеству. С какой бережностью, с какой нежностью прикасались музыканты к своим инструментам, к скрипкам и флейтам, к виолончелям и гобоям, как осторожно перелистывали нотные тетради! Да, какой это был далекий от меня, незнакомый мир...

Часто бывал я у Алексея Ивановича Жестякова, и он, чудаковатый, как многие одинокие старики, нравился мне все больше и больше, хотя я и не понимал, как в наше

грозовое, накаленное время можно устраняться от участия в бегущих мимо событиях, от борьбы с холодом и голодом, с разрухой и недобитыми врагами. Желание как можно пристальнее рассмотреть одного из них, Владимира Федоровича Граббе, тоже толкало меня к дому Жестякова, — Граббе поселился у него. Да и судьба маленького Кораблика, как называл Жестяков Олю, беспокоила и пугала меня.

К счастью, у Оли оказался не тиф, а воспаление легких; через десять дней кризис миновал, и нам с Алексеем Ивановичем разрешили навестить ее. Не буду описывать Боткинскую больницу тех дней, по самые окна занесенную снегом, с кривыми тропинками, тонувшими в горах снега, обледеневшую, безрадостную.

Перед посещением больницы Алексей Иванович продал еще одну из Олиных безделушек, и мы явились в больницу с гостинцами: несколько кусков сахара, тянучки, ломтик украинского сала, несколько подмороженных яблок, хлеб.

Если Оля и до болезни была так худа, что на нее жалко было смотреть, то теперь от нее остались только косточки, туго обтянутые прозрачной кожей; худые ручки стали похожи на щепки. В раздевалке нам дали какое-то подобие халатов, мы накинули их поверх пальто и долго бродили по коридорам и палатам, пока нашли Олю. Кроватька ее стояла в углу, отодвинутая на четверть метра от холодной, промерзшей стены; поверх серого солдатского одеяла девочка покрылась своей шубенкой. Укрытая до самого подбородка, она смотрела на нас сияющими глазами, холодный пар вырывался из ее рта.

— Вы? Пришли? И Данил тоже?..

— А как же, Кораблик! — с наигранной бодростью воскликнул Алексей Иванович. — И, если ты думаешь, что сия представительная делегация явилась с пустыми руками, ты глубоко ошибаешься, дорогая... Во-первых, вот, во-вторых, вот и, в-третьих, вот... — Развязав узелок, Алексей Иванович доставал оттуда то, что мы принесли. — Эти роскошные дары земли, Кораблик, обладают чудеснейшими качествами: они немедленно исцеляют маленьких принцесс от черных хворей...

С соседней койки на нас во все глаза смотрела девочка младше Оли года на три, на четыре, тоже наголо стриженная и тоже худая до невозможности.

— Сахар... — сказала она чуть слышно. — И хлебушек белый...

— Это Шура, — сказала Оля и посмотрела на лежавшие на одеяле «богатства». — Она мне два раза свой чай отдавала... — и с просьбой посмотрела на Алексея Ивановича.

— Ну конечно, конечно, Кораблик, — засуетился тот, отводя в сторону вздрагивающий взгляд. — Конечно, поделись с Шурой. Она же твоя подружка...

— Ага. И потом — у меня же много...

— Да, да, Оленька. А завтра я опять приду... И каждый день буду ходить...

— А я думала, что вы забыли меня...

— Ну! Неужели ты всерьез считаешь своих друзей способными на такое черное предательство? Не могу поверить! Нет! Нас просто не пускали. Там такой цербер охраняет этот ледяной замок — ужас! И вооружен он таким страшным оружием, как метла! О!

Худенькими пальчиками Оля разломала хлеб, взяла два кусочка сахара и протянула Шуре. Та с робким недоверием посмотрела на Олину руку, на сахар, потом перевела взгляд на Алексея Ивановича, будто боясь, что он ударит по протянутой к ней руке. Но Жестяков сказал:

— Бери, бери, деточка... А к тебе мама приходит?

— У меня маму трамвай зарезал... — С голодной и стыдливой жадностью Шура принялась кусать хлеб и глотать его, не жуя, потом так же по-зверушечьи быстро и жадно грызла сахар. — Раньше мы чай всегда с сахаром пили, — сказала она, подбирая с одеяла крошки. — У меня мама всегда-всегда покупала...

— А папа? — спросил Алексей Иванович. — Ты сама ешь, Оленька, ешь, Кораблик... А папа?

— А папа как ушел на войну, так и убили...

Мы посидели и ушли с тяжелым сердцем: это была еще одна грустная страница той поры нашей неналаженной, неустроенной жизни. Оля прощалась с нами, с трудом сдерживая слезы.

— Мне Шуру жалко, — прошептала она, когда я наклонился, прощаясь с ней. — И еще: домой хочется...

Я не понял, что она разумела тогда под «домом»: далекое ли свое севастопольское жилье или комнату в Мерзляковском переулке, где ее окончательно свалила болезнь. Я ушел, унося в памяти нестерпимое мерцание ее больших доверчивых глаз, ее детскую незащищенность и беспомощность...

И Алексей Иванович вышел из больницы в необычайном для него настроении: его шутовское, чуточку ироническое отношение ко всему происходящему уступило место грустному и вопросительному недоумению. Он шагал, прикрывая рот воротником шубы, внимательно поглядывая по сторонам, словно впервые видел длинные очереди у хлебных лавок; ободранных за годы войны, изможденных людей; занесенные снегом улицы. Заговорил, не обращаясь ко мне, а думая вслух, вглядываясь во что-то далекое и, может быть, даже мертвое.

— Да и было ли все это: Париж, зеленый, шумный, по-хорошему легкомысленный Париж, и споры о будущем, и надежды, милые, смешные юношеские надежды? Споры о судьбах мира. И первый проект, и первая моя электростанция? Было ли? А теперь приходится подыхать, и даже Кораблику не в силах помочь... Каменный век! Ледниковый период! И кому могут быть нужны теперь электростанции и все, чему я отдал свою глупую и беспокойную жизнь? Кому?

Оглянувшись на меня, он смущенно покашлял и тут же прижал к губам воротник шубы, — теперь я уже не мог разобрать слов.

У самого дома Алексей Иванович предложил мне:

— А знаете, Данил, давайте пойдемте посидим вместе, что-то так у меня безрадостно на душе... Одиночество и в молодости непереносимо, а уж вот так, на закате, оно... — И не договорил.

Мы выдрали с десяток паркетных плиток и истопили буржуйку, накормили огнем это ненасытное, ласково урчащее чудовище, и холод отодвинулся, прижался в углах, к заиндевевшим стенам, ожидая часа своего торжества. Белели на столе чертежи и страницы рукописи. Алексей Иванович постоял над ними, потрогал рукой.



— А может, действительно одна спасенная детская жизнь неизмеримо важнее всего? А? — И повернулся ко мне. — Так вы прочитали историю гуннов?

— Да.

— Она научила вас чему-нибудь?

И тут, словно во мне что-то прорвалось, я впервые заговорил с этим седым стариком как равный с равным, заговорил о своей жизни, о тысячах смертей, которые видел, об отце и матери, о боях под Каховкой и Перекопом, о том, как сумасшедшая моя мамка принесла в уком и положила на стол перед Вандышевым мертвенькую Подсолнышку, о том, как беляки убили отца, убили Джемму, убили Петра Максимилиановича. Все мои прошлые боли и все прошлые радости вырвались на свободу, мне было важно убедить этого старого чудака в чем-то самом сокровенном.

— Я мало учился, — уже не в силах остановиться, говорил я. — Я не умею хорошо говорить, я не умею насмехаться, как вы... Вот вы дали мне про гуннов... И только когда прочитал, я понял, что это Красную Армию вы называете гуннами. А ведь это же неправда, неправда! Гунны — они белые и буржуи. Они отняли у рабочего все, что можно отнять...

Я теперь думаю, что я наговорил тогда немало глупостей, наговорил много такого, над чем и сам сейчас посмеялся бы. Да и что я мог противопоставить этому человеку с его эрудицией, с его Парижем и Нищей, с его иронией?.. И, может быть, он не стал бы и слушать меня, если бы за моими словами не стоял в тот вечер образ Кораблика, образ маленькой сиротки, нуждающейся в милосердии и доброте взрослых, не стоял образ тех сотен беспризорных, которых я помог за эти недели Роману Гавриловичу отправить в детприемники и колонии, помог вернуть к жизни...

Я задыхался от слов: они жгли мне сердце, я захлебывался от невыплаканных когда-то слез, снова и снова, но в тысячи раз острее переживал то, что уже пережил раньше.

## «ПОСЛЕДНЕЕ МЫЛО»

В этот вечер я вернулся домой поздно, и мне пришлось долго барабанить в неподвижную, словно мертвую, дверь. Я даже подумал: не пойти ли к Петровичу, — он всегда встречал меня приветливо, и, когда я однажды рассказал ему о ночных страхах Ферапонтыча, он сказал: «А ты, если невтерпеж, приходи и вот на лавке и спи. Места не пролежишь».

Но тогда я еще не знал всех подробностей о прошлом Бусоева, мне иногда становилось по-человечески жалко его, я представлял себе, как он сидит один в едва освещенной своей конуре, сжимая запотевшими руками топор и прислушиваясь к шорохам в коридоре. Просмыгнула мышь, где-то отворилась и затворилась дверь, проскрипели под окном торопливые шаги, — все это таило для него неясную, но, как казалось ему, смертельную угрозу.

Я постучал еще раз, и после короткого молчания голос Ферапонтыча за дверью спросил:

— Кто?

— Я это, Ферапонтыч, Данил.

Да, так все оно и было, как я предполагал: и топор в руке, и потный лоб, и почти пустая бутылка на столе. Я уже и тогда начал удивляться: откуда одинокий и бедный старик достает водку и коньяк, чем он платит за непомерно дорогие по тому времени продукты. И только позже мне все стало понятно...

— Ты, парень? Ну вот и добро. А то мне что-то снова неможется. И сна нету. Ежели бы днем, пошел бы куда на людях потолкаться. А ночью куда пойдешь? — Склонив голову набок, прислушался к тишине за дверью, потом подошел к своей постели, положил под иконой на табуретку топор. Вернулся к столу, взял бутылку, посмотрел сквозь нее на свет. — Мало. Ну да ты ведь и не любишь, только добро переводишь, не в коня корм. — Он налил себе в неизменную лампадку немного вина и задумался, глядя в стол. — А я нынче в церкву ходил... Нынче же день у меня памятный... Как раз в этот день я свою Анютку жизни решил, а с того и пошли, значит, все мои беды. И вчера за полночь, как уснул, присни-

лась она. Платишко на ней ситцевое, синее, в цветочках в беленьких, босая, а на голове венки, из ромашек сплетенный: так у нас на селе девки любили выражаться... И вот будто вошла она сюда, и ходит, и ко всему пальчиком касается, и все тихо так, потайно посмеивается, словно уж больно ей смешно все это видеть. Притронется пальчиком и сразу отдернет, словно обожжется, и опять ходит и смеется совсем неслышно... Потом села вот тут, где ты, и спрашивает: «А за чего же, Ваня, ты меня убил? Я ведь ничем тебе не виноватая...»

Несколько дней назад я принес себе пустую консервную банку, она стояла рядом с чайником на печке. Я налил уже остывшего кипятку, выпил. Ферапонтыч по-прежнему смотрел в стол. Руки его, как и всегда, были спрятаны под столом. Я уже и раньше заметил у него эту привычку, он словно боялся своих рук и всегда прятал их под столом, в карманах полушубка, иногда целыми днями сидел и дома, не снимая рукавиц, из которых во все стороны торчали в дыры лохмотья собачьей шерсти... «Рука у меня тяжелая, смертельная», — вспомнились мне его слова...

Сегодня у него было тяжелое настроение, ему хотелось облегчить душу разговором, рассказом о прошлом, о несправедливостях и горестях, которые выпали на его долю.

Пил он коньяк маленькими глотками, ничем не закусывая — нечем было, только иногда запивал глотком воды, подливая ее из чайника.

— Вот так, значит, она и спрашивает. «Нет, говорю, Нютка, ты мне вот как виноватая». Не подвернись она мне в тот час, и никакого, глядишь, зла в моей жизни и не было бы, жил бы, как все, землю пахал, сеял, по осени косил да молотил, все как у людей... А знаешь ты, парень, какая это радость землю обихаживать, никакой другой радости больше этой на земле нету. Будто родная она тебе, земля, будто это дитя твоё кровное, кусок от тебя самого... Здесь, в городе, душно жить, — каменный лес! И люди тут как звери, стенами друг от дружки на всю жизнь отгороженные, не могут друг к дружке сердцем прислониться... А там — ширь, покой и каждый человек словно на ладошке... И кто как живет, с чем нынче

щи у шабров<sup>1</sup> варят, какие сны завтра кто увидит, — все каждому известно, нет там никакой тайности... Ну да вот не пришлось мне: за силу, поди-ка, мою, и наказал меня бог... Я ведь ужасно какой силы в молодых годах был, никого против меня... И в хозяйстве тоже, весь в отца пошел. В молодое-то время, когда я еще в парнях хоро-водился, папаня мой до трех сотен десятин каждый год подымал, могучей же мужичище был, прямо сказать — медведь...

— Вы, значит, кулаками были? — спросил я и пожалел о том, что спросил: с такой острой и трезвой ненавистью блеснули светлые, прозрачные глаза.

— «Кулаки»! — презрительно и с надменной гордостью передразнил он. — Да ежели хочешь знать, такими, как мой батяня, русская земля и сыта все века была. Самостоятельные хозяева — вот кто, а не какие там кулаки. Это нынче рвань да голь придумала: кулаки-кулаки! Не-е-ет! Ты, парень, ума еще своего не нажил, вот и повторяешь за другими, за городскими... «Кулаки»! Да ежели бы не они, Россия вся бы давным-давно голодом подохла, вся бы на мазарках<sup>2</sup> лежала, не осталось бы в ней никакого дыхания. Как города испокон веков на купцах стоят, так и деревня на сильном мужике держится... Отыми у него силу, отыми землю — и все, пропала Россия... Вот ты гляди, что тут в белокаменной-то без купца идет, какая жизнь, ровно на великом каком погосте живешь, только что непохороненный...

Мне уже хотелось спать, я протираю глаза, и, когда стало невмоготу, я вытянулся вдоль стены, пристроил под голову свой узелок, укрылся. Свет свечи тек по зеленоватым пятнам плесени в углу, где стояло ведро с водой и немудреные принадлежности дворницкого ремесла: лопаты и метлы, и висел кожаный драный фартук. Светлым фосфорическим светом блестели в полутьме большие глаза старика, борода его была похожа на седой веник.

— А вы на войне были, дедушка? — спросил я, когда Ферапонтыч умолк.

---

<sup>1</sup> Ш а б ё р (обл.) — сосед.

<sup>2</sup> М а з а р к и (вост.) — кладбище.

— Чего? — вскинулся он. — А-а-а. На войне? Нет, не был... Я с того самого времени по острогам пошел, по каторге... Определили они мне тогда за Нюшку двадцать годов, как по закону положено, а потом за тюремщика добавили...

— Какого тюремщика?

Ферапонтыч снова налил себе коньяку и выпил глоток, облизал губы.

— Да была там гадина одна, в Тобольской каторге, вот уж как изголялся над людьми, словно и царь он и бог. Ну вот и потянули мы с дружками жеребий, кому за этого гада еще срок иметь. Вышло мне. Я его парашей убил... Так он посередь вонь и кончился, туда и дорога...

Сна у меня как не бывало: так вот, значит, какие видения мучают моего бородатого хозяина, вот чьи шаги чудятся ему за крепко запертой дверью!

— Тут все они и поднялись, — продолжал Ферапонтыч, — и вышла мне безо всякой скидки веревка.

— Веревка?

— Ну, петля... И — никакого спасения. Давненько было, почти шестьдесят годов прошло, а как сейчас помню, какая неохота была помирать ни за что... Ну, добро бы человек был, а то мозгляк, тля, вошь — такие только землю поганят... Я бы, парень, знаешь, таких бы в самой начале душил... Пусть жили бы на земле самые сильные, вот вроде меня, скажем, или еще был там у меня дружок, за фальшивые деньги сидел, фамилия ему была Брузгин. Вот это человек! Ежели бы землю Русскую заселить бы всю такими — никакой бы германец не сунулся...

Мне уже не спалось, я сел на лавке и смотрел на седого, растрепанного старика.

— А как же петля, Иван Ферапонтович? — спросил я.

Он долго и пристально смотрел на меня, почесывая под бородой грудь, потом встал, заплетающимися ногами подошел к своей постели, встал перед ней на колени и из дальнего угла, от стены, вытащил небольшой, окованный железными полосами сундучок, видимо очень тяжелый. Пошарив на груди, достал из-под рубашки висевший на шнурке ключ и, кряхтя, долго возился над

замком. Наконец отпер, достал оттуда, с самого низа, небольшой узелок и, оставив сундучок открытым, вернулся к столу. Медленно и старательно, с боязливой осторожностью разворачивал он старый, серый, видимо, никогда не стиранный лоскут.

Я следил за ним с любопытством: что могло храниться в этой тряпице, от которой пахло плесенью?

В тряпице оказалось несколько усохших от времени кусочков простого черного мыла. Стараясь не прикасаться к ним, старик развернул тряпку и смотрел на обмылки неподвижными, еще больше посветлевшими глазами. На обмылках чем-то острым, лезвием ножа или, может быть, гвоздем, были выцарапаны какие-то цифры и буквы. Разровняв ладонями края тряпки, Ферапонтыч вскинул на меня глаза, словно приглашая в свидетели значительного и страшного события.

— Что это? Мыло, что ли? — спросил я.

— Ага. Мыло, — шепотом сказал дед.

— А зачем?

Он долго не отвечал, рассматривая темные исцарапанные куски и, как показалось мне, не решаясь к ним прикасаться, потом поднял затяжелевший взгляд.

— То-то и оно, парень, что мыло это особое, по острогам, кто к этому делу причастен, его последним, а то мертвым мылом зовут. И примета такая: не бросать его, а хоронить пуще глаза, пуще даже самой жизни. Потому потом, как срок, он обязательно за этим мылом придет...

— Кто?

Мне стало страшно с безумным стариком, охваченным манией преследования.

— Кто? — спросил я еще раз.

— «Хто, хто»! Ну тот, кого вешали, кому же еще его мыло спонадобится? Значит, будет такой срок, когда ему это мыло надо показать богу, чтобы самому оправдаться, — дескать, не сам я своей волей жизни себя решил, а была тому чужая причина... Ну, а я одно мыло то и потерял, то есть не потерял, а как-то так вышло, вдруг у меня все в глазах помутилось и упал я все равно как мертвый... прямо под виселицей. Оно и пропало... И вот теперь мне и боязно: а вдруг это как раз он и ходит кругом и ходит... А?

— Значит, вы вешали? — не слыша своих слов, спросил я.

— А как же мне тогда? — спросил Ферапонтыч, и глаза его снова налились холодной и трезвой жестокостью. — Что же мне, самому помирать? Не я — другой бы их кончил, потому — закон. А мне как сказали: жить оставим, — мне куда же податься? Совсем некуда... Не помирать же в двадцать-то лет...

— И много?

Ферапонтыч пересчитал глазами кусочки мыла.

— Все тут. Одного не уберег, потому и трясусь теперь по ночам. И ты, парень, ежели я усну здорово, ты без меня дверь никому, ни-ко-му! Понял — никому чтобы!

— И политических? — спросил я.

— А какая разница?..

Я встал, но выйти из-за стола мешал старик, он сидел неподвижно — такая каменная глыба — и всё рассматривал свои страшные сокоуища.

— Ну и сволочь же ты, дед! — почти крикнул я, уже почему-то не боясь его.

Он посмотрел сразу замутившимся взглядом, нехотя сказал:

— Известно, сволочь, — и принялся старательно, боясь, прикоснуться к мылу, сворачивать тряпицу. — Уж больно мне помирать было страшно. Прямо слов нет.

### **«А ЖИЗНЬ ИДЕТ...»**

Много дней я ходил под впечатлением рассказа полусумасшедшего палача. Тогда только еще приоткрывалась завеса, прятанная от народа жестокуу правду о гибели многих самоотверженных, мужественных людей. По следам памяти таких, как Рылеев и Пестель, Муравьев-Апостол и Трубецкой, по следам таких, как Вера Засулич и Николай Кибальчич, таких, как Александр Ульянов и его товарищи Василий Генералов и Петр Шевырев, Пахомий Андреюшкин и Василий Осипанов, по следам многих других, погибших в равелинах и крепостях, в каменном одиночестве Петропавловки и Шлиссельбурга, шла созданная царскими приспешниками слава извергов, убийц, не оста-

навливающих ни перед какой жестокостью, ни перед каким преступлением.

Нужны были после революции годы для того, чтобы правда о бесстрашных людях стала достоянием народа, чтобы их высокий, ясный облик стал виден во всей его силе и чистоте... Петр Алексеев с его знаменитыми словами: «...и ярмо деспотизма, окруженное царскими штыками, разлетится впрах»; Маруся Ветрова, которая сожгла себя живьем в Петропавловской крепости; Бабушкин, расстрелянный за провоз оружия в 1906 году; Якутов, бывший во время революции пятого года председателем Уфимской республики, которого потом, в годы реакции, повесили в уфимской тюрьме. Надежда Константиновна Крупская вспоминала: «Он умирал на тюремном дворе, а вся тюрьма пела, во всех камерах пели — и клялась, что никогда не забудет его смерти, не простит ее». Сколько их было!

Да и можно ли забыть цвет и силу нации, гордость народа, забыть людей, которые с поражающим даже палачей мужеством и бесстрашием поднимались на эшафоты, шли в ссылки и каторжные тюрьмы, по четверти века проводили в каменных мешках одиночек? Можно ли это простить, забыть?

Но я так и не узнал никогда, даты чьих смертей выцарапаны на кусочках черного мыла, с суеверной бережливостью хранимых помешавшимся стариком.

И сейчас я помню тот ужас, который охватывал меня при одном воспоминании об этом седом, неопрятном, вызывающем какую-то брезгливую ненависть старике. Я поражался: да как же я мог жить с ним в одной комнате, под одним потолком, пить из одной посуды, я, для которого Революция и все связанное с ней всегда было самым святым и дорогим в жизни?

В ту памятную ночь я так и не смог заснуть, я только, полуукрывшись шинелью и притворяясь спящим, следил за Ферапонтычем. Он уснул уже перед самым утром, заснул тяжелым, не приносящим отдыха сном, беспокойно ворочался на своем тряпье, бормотал бессвязные слова: «Корова, она конечно... капуста не позабудь... уеду я... кандалный срок, значит...» — и что-то еще, пустое, лишнее смысла...



Когда стало светать, я тихо, стараясь не разбудить старика, встал, натянул валенки, оделся. Но он все же услышал, провел по заросшему лицу огромной ладонью и посмотрел из-под нее на меня измученным взглядом.

— Или пора уж?

— Мне пораньше сегодня...

— Ну ступай...

Со вздохом облегчения закрыл я за собой обитую рваным войлоком дверь. Я спешил по утренним улицам Москвы так, словно за мной гнались, словно то, что я узнал ночью, преследовало меня по пятам, словно тени убитых Бусовым бежали рядом со мной.

А утро рождалось чистое и ясное, пробуждающее в сердце первое напоминание о грядущей весне, о расцветающих садах, о пахучей нежной траве. Снег не скрипел под ногами тем громким, пугающим скрипом, каким он скрипит в морозные, прохватывающие до костей ночи, невидимое за домами солнце смеялось в окнах высоких этажей, осыпался на не очищенные от снега тротуары лохматый иней, и освобожденные от тяжести ветви деревьев устало распрямлялись и тянулись к солнцу.

Я думал, что, как только расскажу Роману Гавриловичу о Бусове, безумный преступник будет немедленно схвачен и отправлен в одну из тюрем, где он, спасая свою подлую шкуру, убивал других...

Но, к моему удивлению, выслушав мой лихорадочный рассказ, Корожда сказал:

— Я так и думал, что за ним что-то есть. Но как хочешь, Данил, а придется тебе еще там жить. Тут не в старике дело. Свое он получит, если сам на себя удавки не набросит. Дело не в нем. Знать надо, что эти «крабы» удумали... Опять, слышно, в Питере контра шевелится, наверно, оттуда и сюда к нам, в столицу нашу красную, ниточки тянутся... Конечно, ежели боишься, если дело тебе непосильное...

Я поежился — такой пугающей представилась мне перспектива еще хотя бы одну ночь провести рядом с Бусовым. Роман Гаврилович заметил мой страх.

— Ну, я говорю: если дрейфишь...

Упрека в трусости я перенести не мог.

— Да что вы, Роман Гаврилович!

— Ну ладно, ладно...

Мы поговорили, как мне вести себя дальше, чтобы проникнуть в тайну контрреволюционной возни, которую безусловно затевали Шустов и Граббе.

— Тебе, чтобы к самому их черному нутру вплотную подойти, в контру играть надо, Данил. Помни: ты—контра, самая подлая контра, понимаешь? Вот тогда они поверят тебе. Но только помни — торопиться, торопиться, Данил! А то придется по-глупому рубить сучья, а дерево останется...

В тот вечер, взяв у тети Маши салазки, на которых она возила в детский садик маленького Гришутку, я отправился к Жестяковым: мы договорились с Алексеем Ивановичем, что я достану на воскресенье санки и помогу ему перевезти домой выздоравливающую, но еще очень слабую Олю. Ночевать к Ферапонтычу в ту ночь я не пошел.

Весь вечер Жестяков долго работал, то присаживаясь к своему большому письменному столу, то вставая и принимаясь ходить по кабинету из угла в угол, — полы шубы махали по сторонам, словно тяжелые и бессильные крылья. Я сидел у печки и читал историю Великой французской революции, историю наполеоновских войн. И было мне так тяжело еще раз убеждаться, что в течение всех тысячелетий, известных истории, никогда не утихали, не переставали бушевать над землей кровавые ливни войн, никогда еще по-настоящему не побеждала в мире правда рабочего человека, создателя всего на земле...

Часов в восемь в передней неожиданно задребезжал звонок. Алексей Иванович оторвался от своих рукописей и чертежей, с удивлением взглянул на меня, потом на дверь. С его слов я знал, что Граббе еще вчера уехал по своим делам на день или два в Петроград, а больше — кто же еще мог прийти.

— О! — сказал Алексей Иванович, вставая из-за стола. — Опять идут искать бомбы!

Но это был не обыск и не облава, это пришел старый товарищ Алексея Ивановича по Петербургскому университету, маленький, горбатенький, закутанный в две женские шали старичок с удивительно острым, в профиль напоминавшим топор личиком—сходство усиливалось блес-

ком больших очков. С мороза он казался совершенно седым, и борода, и торчавшие вперед сердитые усы, и лохматые брови, и даже ресницы — все заиндевело. Старики долго осматривали и хлопали по плечам друг друга, бормоча полагающееся в таких случаях: «Сколько лет!», «Как рад!», «Ах боже мой!» и так далее.

Стащив свои шали, старичок расстегнул серое, с бархатным воротником пальто, ободрал с бороды и с бровей сосульки, снял очки; под ними неожиданно обнаружились удивительно живые, острые и веселые глазки нежного сине-зеленого, морского цвета.

— Постоялец? — подмигнул старичок в мою сторону. — Или для надзора за потенциальным крамольником? Ну-ну, я без обиды, я знаю: за крамольниками глаз да глаз! — И вдруг, как бы споткнувшись взглядом о висевший над столом портрет, старичок жалобно сморщился, глаза у него налились печалью. — Ах, Юленька, Юленька, — вздохнул он. — Цветик аленький...

Как я узнал позже, Алексей Иванович и этот старичок — Анатолий Никандрович Кулябский — в годы юности были неразлучными друзьями, участвовали в первых марксистских кружках, в демонстрациях, но этим и исчерпался их бунт против темного безвременья, выпавшего на годы их юности. Любили одну и ту же девушку, эту самую Юленьку Строганову, милую, русокосую, ее выбор определил судьбу обоих. Кулябский так и остался старым холостяком, «ушел в науку», в биологию, которую считал краеугольным камнем человеческого знания, основой основ всех наук... Тогда, во времена молодости, кого-то из их товарищей сослали на каторгу, кого-то лишили прав состояния и выслали на поселение, лишив возможности заниматься наукой. С тех пор Кулябский и Жестяков «мудро» решили, что самый верный путь исправления социальных неустroенностей — путь знания, путь науки. «Нельзя же в обществе, которое все знает и все понимает, человека, венец творения, прогонять сквозь палочный строй и лишать его жизни повешением за шее. Варварство само по себе отомрет, как только науки станут достоянием всех».

— Ах, боже мой, боже мой! Сколько зим, сколько лет! — без конца повторяли старики, похлопывая и по-

глаживая друг друга. — Сколько воды утекло, скольких мы похоронили...

Кулябский, согревшись, подошел к печурке, на которой стояла кастрюлька с супом из селедочных голов, наклонившись, старательно понюхал; большой острый нос его смешно сморщился.

— Акриды вижу, старик! А где же мед?

Оба невесело посмеялись и сели к столу. На нем в беспорядке валялись чертежи и листы рукописи.

— Все строишь свои бумажные башни? — усмехнулся Кулябский. — Все верен им? Рыцарь!

Они были чем-то похожи друг на друга и в то же время очень разные, словно одинаковые по форме лепки, сделанные из разного материала... Ненатурально посмеиваясь, они, как казалось мне, все присматривались друг к другу, как будто та давняя рознь, зачеркнутая смертью женщины, еще стояла между ними невидимой, но осязаемой стеной.

— Ты думаешь, старик: какой же это черт загнал Кулябского в твою пещеру? Признайся, ведь думаешь...

— Гм... гм...

— Но, знаешь, друже, чудные дела творятся на свете, и хочется на пороге небытия старческой болтовней облегчить бремя! А? Тебе не хочется?

— У меня племянница из Севастополя приехала. В больнице лежит, — непонятно к чему сказал Алексей Иванович, пристраивая на печке чайник. — Воспаление легких. Завтра выписывается.

— А-а-а, понимаю, — протянул с умной и доброй улыбкой Анатолий Никандрович. — Это ты касательно небытия? Увы, не посеял твой покорный слуга ни добрых, ни злых семян. Большая?

— Тринадцать.

— Николая?

— Его... Помнишь?

И, перебивая друг друга, принялись вспоминать молодые студенческие годы. Когда-то они учились в Петрограде все вместе: братья Жестяковы, Граббе и Кулябский. Какое то было, по их словам, милое, неповторимое время!.. А я снова углубился в дебри истории, перескакивая со страницы на страницу, из эпохи в эпоху, шел по

пятам тех, кого когда-то величали великими, перед которыми трепетало полмира. Горы трупов громоздились у подножия всех так называемых великих империй, у тронов всяких чингис-ханов и александров македонских, хаммурапи и батыев, бонапартов и николаев кровавых. Зачем, почему, во имя чего? В книге не было ответа.

От истории через некоторое время меня отвлек горячий разговор стариков.

— Я тоже сначала не верил, Алеша, — говорил, смешино жестикулируя маленькими, почти детскими ручками, Кулябский. — Но теперь...

— А чего же они взамен? — с тревогой спросил Жестяков.

— Представь себе, продолжения научной работы! Да, да! Дают пайки, дают средства на ремонт и расширение лабораторий, на ведение работ... Лаборатории Павлова и Тимирязева уже работают полным ходом. Пайки развозят на специальных машинах. Как раз то, чего не хватает к твоим и моим акридам. Мед! Сам Ленин следит за этим, он и к себе вызывал многих... говорил, просил.

— Просил?!

— В том-то и дело, что не приказывал, не требовал, а просил. Он, говорят, удивительный человек, широчайшей эрудиции. И нет на нем никакой кожаной куртки... Помолчав, Алексей Иванович горько улыбнулся.

— Ну, моя-то наука вряд ли им когда-либо понадобится! Разве соберутся они с силами, чтобы строить это? — Он похлопал ладонью по листам чертежей. — «Церкви и тюрьмы сровняем с землей!» Сравнивать сравнивают. А когда же начнут строить?

Кулябский усмехнулся.

— А ты злой стал, старик! Как я тебе когда-то говорил: иди в естественники. Знание тайн жизни способствует пищеварению.

— Было бы что пищеварить!

— Ах ты, ископаемое, ископаемое! — с грустью покачал головой Кулябский. — Была бы жива Юленька, задала бы она тебе перцу!

И оба, притихнув, долго молча смотрели на портрет. Милая, большеглазая женщина глядела на них из прошлого с ласковой укоризной, как мать или старшая сестра.

## ОЛЯ ВЕРНУЛАСЬ

На следующий день мы привезли домой Олю. Тягостным и печальным было прощание с Шурой, обе девочки плакали навзрыд и успокоились только тогда, когда Алексей Иванович пообещал после выздоровления Шуры взять и ее к себе. Он, конечно, раньше не собирался этого делать, но так нестерпимо было смотреть на отчаяние худых, стриженных девчонок, столько горя отражалось на их лицах, столько бессильного отчаяния в судорожных объятиях, — так хотелось их приласкать и утешить.

— Ну, хватит, хватит, гололобые! — притворно рассердился Алексей Иванович, насупив седеющие брови. — Закрывать шлюзы!

— Ты, Оленька, меня никогда-никогда не забудешь? — спрашивала, всхлипывая, Шура. — У меня ведь, кроме тебя, теперь никого нету. Ты — как моя старшая сестра. Выпишут меня, и я даже не знаю, куда...

— К нам и пойдешь. Мы за тобой приедем и на саночках отвезем. Ведь правда, Даня, ты опять достанешь тогда санки?

— Конечно.

— Ну вот, видишь. И будем жить вместе. И никогда не будем расставаться...

— А если ты выйдешь замуж?

— Ну вот, глупости какие! Зачем я выйду замуж?

— Ты красивая. Красивые обязательно выходят...

Пока девочки болтали этот вздор, Алексей Иванович старательно укутывал шею Кораблика старенькой Юлиной шалью, застегивал шубку, подпоясывал ее «для тепла» своим старым ремнем. Больничная няня стояла рядом и молча смотрела на сборы.

— Совсем несмышлениши, — сказала она не то с жалостью, не то с осуждением. — Особо — Шурка. От горшка не видать, а уж горя-то что намыкано! Одежало-то казенное, папаша, не увезешь? На мне числится...

— Не волнуйся, божья пепельница, не тем промышляю! — оглянулся Алексей Иванович.

— Теперь, миленький, всем промышляют. Годов двадцать, что ли, назад я в кухарках у одной княгини-герцогини жила, на самой Тверской, на сотню персон обеды

готовила. А вчера встретила на Воздвиженке, идет вся в рванье и полено березовое к груди изо всех сил прижимает, ровно дитя любимое... А ты: не тем промышляю!

Уже уходя, в коридоре мы столкнулись с врачом, длинным, нескладным человеком с рыжеватой чеховской бородкой, на носу у него криво сидели очки с одним стеклом.

— Ага! — Он остановился возле нас, погладил Олю по голове. — Ну вот, пигалица и улетела! Теперь, батенька, — повернулся он к Алексею Ивановичу, — теперь главное — питание!

— Как же, как же, доктор! — готовно заулыбался Алексей Иванович. — Куриный бульон, сметана, сливки, по утрам горячее молоко? Да? Устрицы! Ананасы! А может, нам, доктор, лучше всего в Баден-Баден махнуть? А?

Не ответив, доктор снял очки и бережно протер носовым платком стекло. Лицо у него стало печальное и усталое.

— Шутить изволите, — упрекнул он, не поднимая глаз. — Посмотрел бы я, как бы вы шутили, если бы у вас на руках каждый день такие вот Кораблики на тот свет уплывали. — Повернулся и, ссутулившись, словно неся на спине тяжелый и неудобный груз, ушел.

День был не по-зимнему теплый и яркий, на солнечной стороне капало с крыш. И кажется, в тот день я впервые увидел московское небо — раньше взгляд никак не поднимался выше домов, — небо было синее и чистое и все-таки почему-то безрадостное. Везли мы санки с Алексеем Ивановичем вместе: снег с тротуаров давно не убрали, было трудно.

Когда проезжали по теперешнему Ленинградскому проспекту, Оля попросила:

— Даня, сломай мне, пожалуйста, веточку...

— А они еще голые.

— Все равно. Я так по всему на земле соскучилась...

Я сломал ветку, отдал ей. Скинув не по руке большую варежку, девочка взяла голый прутик, нежно прижала к щеке:

— Весной пахнет...

А до весны было так далеко!

Шел воскресный день. Дома нас ждал, по словам

Алексея Ивановича, «роскошный обед», приготовленный в связи с возвращением Оли: чечевичная похлебка, перловая каша и чай с сахаром и хлебом. Оля опьянела от еды, личико у нее порозовело, порозовели и уши, которые теперь, когда она была острижена, казались оттопыренными и прозрачными. Печку натопили, не жалея паркета. В комнате стало тепло и даже уютно.

Но ходить Оля еще долго не могла. Слабенькая, болезненно худая, она целыми днями лежала на диване, перелистывая «Жизнь животных» или «Географию мира» или просто так, глядя в потолок и улыбаясь чему-то своему странной, затаенной улыбкой. Ее очень красила эта тихая, как бы в полусне, мечтательная улыбка.

По ее просьбе я два раза ходил в больницу навещать Шуру, относил немного поесть. Но, когда пришел в третий раз, ко мне в приемную вышел врач в пенсне с одним стеклом и, глядя в сторону, скривив голову на левое плечо, словно у него болела шея, сказал:

— Можешь сходить в морг, если хочешь, — и пошел прочь, пришибленный, больной.

Возвращался я медленно, думал, что же мне сказать Оле: она была так слаба — не хотелось и нельзя было ее волновать.

Она ждала и вся светилась радостью, ее большие глаза, опущенные темными ресницами, не отпускали меня ни на секунду с того самого мгновения, как я переступил порог дома.

— Ну, как она, как? Рассказывай же, Даня.

И вдруг увидела в руке у меня тот самый крошечный узелок, что я должен был передать Шуре; я совсем позабыл о нем и теперь, снимая шинель, положил возле дверей на стул. По тому, как сразу потемнели от горя и налились слезами глаза Оли, я понял, что она догадалась. Но я заставил себя засмеяться.

— Уехала! Уехала наша Шурка. Знаешь, за ней тетя из Коломны приехала, как-то нашла ее и вчера увезла... Ты что, не веришь мне, Кораблик, что ли? Ну, клянусь тебе... Она...

— Зачем ты обманываешь? Разве я маленькая? Я еще и тогда слышала, как один раз про нее няни говорили: «Не жилица она».



Я сел в стороне: от меня еще несло уличным холодом, я мог простудить девочку. На одеяле, на коленях у нее лежала книга, раскрытая на красочной таблице, где летали яркие тропические бабочки, похожие на диковинные цветы — синие, красные, золотые, — они подчеркивали холод и бедность человеческого житья.

— Я так и знала. Только я надеялась, потому что молилась...

Вскоре пришел Алексей Иванович, замерзший, худой, но странно оживленный, глаза у него блестели живым, переливающимся блеском.

— О! — воскликнул он еще с порога. — У нас с Корабликом гости! — Снял шубу, потер руки и, с выражением удивления на лице, сел к столу. — А вы знаете, Данил, мне предложили работу. Я думал, что такая дохлая перечница, как я, в наше время годна только на мыло, и то дрянное. А тут вдруг... Знаете что? Клянусь, не угадаете! Вызывают на Мясницкую и предлагают работать, работать! Проектировать, строить! И уже многие работают. Да, да! Разрабатывают какой-то грандиозный план. Электрические станции — на угле, на торфе, а на Днепре — на порогах, на самом Ненасытце — гидростанция. И на Свири! Боже мой, там же у воды огромная гравитационная сила...<sup>1</sup> И это тогда, когда в стране нет не только керосина, а даже дров! Невозможно... Что-то несообразное!

Потирая руки, блестя глазами, он принялся ходить по комнате, иногда останавливался у стола, над своей рукописью, или вытаскивал из книжных шкафов рулоны чертежей, разворачивал и с радостным удивлением рассматривал их...

Мне было приятно видеть, что и в душе этого старого человека, не понимающего и не принимающего нового, зашевелились какие-то сомнения, заговорила неуверенность в его правоте и его отстраненности от небывалой перестройки, уже начавшейся на земле. Но я ничего не сказал, я сидел и смотрел то на него, то на Олю. Она с печальными глазами лениво и без интереса перелистывала книгу, и чудесные прекрасные бабочки, соперничав-

---

<sup>1</sup> Гравитационная сила — здесь: сила течения и падения воды.

шие красотой с самыми яркими цветами земли, перепархивали у нее с колена на колено.

А Алексей Иванович все ходил, бормоча себе под нос:

— Днепр! Черт знает что!

В сумерки я вернулся домой. Ключа на обычном месте не оказалось, а достучаться я не смог, хотя колотил в дверь изо всей силы. За ней было тихо. Наконец выглянул из своей квартиры Петрович, позвал:

— Да шут с ним, Данил! Поди-ка, напился и спит, бородатый черт. И откуда он это зелье берет? Может, еще когда магазины винные грабили, наворовал?.. Иди сюда.

Я зашел. Маленькая шустрая черненькая жена столяра возилась у печки, жарила из толченой крупы лепешки: вкусно пахло подгоревшим маслом. Набросив шинель, я сел к столу, напротив Петровича; сын его, Кирилл, строгал какую-то маленькую вещичку у верстака в углу. Он поздоровался со мной кивком и снова наклонился над матово блестящим куском дерева.

— А я, Данил, нынче коммерцией занялся, — виновато усмехнулся в светлые свои усики Петрович. — Есть тут у меня дьякон знакомый, в церквушке одной за наши с тобой души перед богом просит. Так вот, он маслице божье тайком от батюшки из лампадок сливает и верующим продает. Но берет, сукин сын, дороговато — маслице-то святое! А уж нам со старухой больно вкусненького захотелось... Пахнет-то как — чуешь? Амброзия, Иерусалим!

Лепешки оказались очень вкусными, кажется, никогда в жизни не ел ничего вкуснее, хотя они и рассыпались прямо в руках. Половину лепешки мне удалось спрятать в карман — угостить завтра Олю. Потом мы с Петровичем сидели у стола, он курил, смешно, по-петушиному задирая голову и пуская к потолку дым.

Глядя на его умиротворенное лицо, следя за голубой струйкой дыма, нехотя взбирающейся к беленому потолку, я впервые подумал о том, что он, Петрович, наверное, не однажды видел Ленина: ведь Ильич несколько раз выступал в Большом театре. Я спросил об этом.

— А как же, как же! Не раз... — Столяр задумался, прищурившись, будто вглядываясь во что-то, синеватые

глаза его наполнились необъяснимой, светлой печалью. — Видел. Первый-то раз — концерт у нас пели... Концерт, скажу я тебе, просто чудо какое-то было. Нежданова пела, Шаляпин, Собинов... Осенью это было, в прошлом году... Я за кулисой примостился, стою это себе, слушаю. А уж пели, пели-то как! Как Нежданова запела, словно небо над твоей головой раскрывается, так и тянет тебя вверх, так и зовет... А уж Федор Иванович как запоеет, словно не человек ты, а так себе — песок, пыль, нет тебя совсем. Для партийных московских товарищей пели, старались. А холодно в театре — страсть. Нежданова в белом платье, поет-заливается, а мне на нее даже смотреть страшно, — замерзла же ты, думаю, милая моя сосулька...

— Вы про Ленина, Петрович...

— А я к тому и веду, — кивнул столяр, косясь в сторону сына, который, отложив стамеску, придвинулся, прислушиваясь. — К нему и веду. Ну конечно, мы думали, что и Владимир Ильич здесь, — он же музыку любит. Ну и я тоже, нет-нет да на царскую ложу выгляну, думаю, где же ему и сидеть?.. Ну, однако, нет его там и нет. Не иначе, думаю, дела... И вдруг, как концерт кончился, вот-вот занавес дадут, и вдруг кто-то с самого пятого яруса, с галерки то есть, как крикнет: «Да здравствует вождь мировой революции Владимир Ленин!» Что тут поднялось — слов нет. И артисты все на сцену выбежали, и мы, кто за сценой работает, тоже шеи вытягивали, друг через дружку глядим. И все на царскую ложу пялимся... А Ильич вдруг встает в партере, этак ряду в восьмом, что ли, в пальто сидел, шапка в руках. Ну, голову к плечу склонил и быстро так, маленькими шажками пошел. Да не туда, куда я думал, а прямо к нам, к сцене... Есть там с правой стороны дверца, вот он в нее, в оркестровую яму, спустился и через кулисы ушел! Мы-то думали, он на сцену выйдет, скажет что народу, ан нет. С тем и ушел, — не любит он почестей всяких...

Чуть слышно бормотал на плите чайник, проскрипел под чьими-то шагами под окном снег.

— Поразился я тогда на него, — начал было снова Петрович, но в это время в коридоре кто-то постучал в дверь Ферапонтыча, подождал, потом, требовательнее

и настойчивее, постучал еще раз. Петрович встал и, поправив на плечах пиджак, пошел к двери.

— Кто? — спросил он в холодную и темную глубину коридора. — Ежли дворника — видно, нет его. Может, передать что?

На пороге показалась грузная фигура Шустова, он беглым взглядом окинул сидевших в комнате, стряхнул с бровей и усов снег, сказал своим бархатным баском:

— Спасибо, завтра зайду, — и, еще раз скользнув взглядом по комнате, ушел. Слышно было, как он твердо печатает по камню шаги, поднимаясь на второй этаж.

— На Федора Ивановича больно схож, — сказал Петрович, возвращаясь к столу.

А я пожалел, что Ферапонтыча нет дома и что я не присутствовал при их встрече. Наверное, опять Шустов собирался что-то поручить дворнику. Теперь-то я решил не выпускать старика из виду и следить за ним.

Петрович снова сел к столу, положил на скатерку небольшие, но ловкие, как и у сына, руки, быстро-быстро пошевелил пальцами.

— Да, что тогда было — словно все с ума посходили. Кричат, зовут. А потом «Интернационал» пели. И скажи ты на милость, что это такое: как запоют этот самый «Интернационал», так слезы прямо из сердца против всякой твоей воли рвутся и рвутся и душа прямо на куски разламывается... — Он аккуратно оторвал клочок бумаги от страницы какой-то книги, принялся сворачивать папиросу. Остро и осторожно взглянул на меня. — А скоро, Данил, я его снова увижу, не миновать быть...

— Где? — Я даже привстал.

— А съезд-то Советов, опять же, наверно, у нас в театре пойдет, самое ему место...

Как я завидовал тогда Петровичу! Ленин, Ильич, близкая светлая мечта, и не только моя, а всех людей, кто жил рядом со мной и делился со мной последним куском хлеба, кто сражался и жизни своей не жалел за революцию... Я так хотел его видеть...

## В ТЕАТРЕ

Да, нет слов, какими я мог бы рассказать, как хотелось мне увидеть тогда Ленина. Нет, «хотелось» не то слово, это было страстное, необоримое желание хотя бы издали увидеть его. Для меня в нем совмещалось все дорогое в жизни, словно к нему, по странному праву наследования, перешло самое лучшее и от моего растерзанного беляками отца, и от его товарищей по борьбе: безногого сапожника дяди Коли и Петра Максимилиановича, человека с огромными, но удивительно чуткими руками и с грудью, напоминающей наковальню, и от милой, худенькой, большеглазой ссыльной библиотечарши Джеммы — из ее рук мы впервые получили книгу, которую невозможно не любить или забыть, «Овода», — и даже от таких далеких от революции людей, как моя набожная мамка, и даже от моей сестренки, маленькой Подсолнышки, может быть, ее доброта, лучистость ее доверчивого, бездонной ласковости взгляда, — я не могу, не умею этого объяснить...

Из рассказов других я в то время уже знал некоторые подробности жизни Владимира Ильича, знал, как его преследовали жандармы и сыщики, как он сидел в тюрьмах и жил в ссылке, о том, что его старший брат, Александр, еще не достигнув совершеннолетия, был казнен вместе с товарищами за подготовку покушения на царя. Я прочитал в газетах несколько речей Ильича, и он рисовался мне полководцем, управляющим течением революции с башни броневика...

В народе, по крылатому выражению Кржижановского, уже творилась о нем бессмертная легенда, он как бы присутствовал повсюду, где шли в последние пять лет бои за победу Революции, его якобы встречали в самых бедных деревнях и в полях, на нищенских наделах бедноты, в далеких лесах и горах, на площадях чуть не всех городов России, — так велика была народная вера в него и мечта о встрече с ним.

В свои свободные часы — а их, правда, оставалось не так уж много — я любил бродить по Красной площади, смотреть на видимые над кремлевской стеной окна, я всматривался в каждого выходявшего из Кремля чело-

вска, в каждый выезжавший из ворот автомобиль. Вход в Кремль охранялся, пройти туда можно было только по пропуску коменданта, а просить пропуск у меня не было оснований. После двух покушений на Владимира Ильича его тщательно оберегали. Прав был Роман Гаврилович: многим черным рукам хотелось бы дотянуться до Ильича.

— Знаешь, парень, — однажды признался мне Петрович, когда мы уже крепко сдружились и я несколько раз побывал в театральной мастерской, — ведь и у нас в театре бомбу под самой сценой нашли. Вот ведь какое дело!

Тогда уже стало известно, что в конце декабря в Большом театре откроется VIII съезд Советов и там будет говорить Ленин. Я начал просить Романа, чтобы он устроил меня в охрану съезда, но он сказал:

— Ну и поставят тебя где-нибудь у таких дверей, где Ильич никогда не ходит, и проторчишь ты там все дни, а его не увидишь. Что тогда? — И он лукаво рассмеялся. — А вообще — мысль. Там ведь тысячи человек работают, и эсеришки есть, и меньшевики, за ними глаз да глаз.

Разговор этот происходил на квартире Романа, и тетя Маша, слышавшая все, тоже засмеялась.

— А ты, Даня, к нам приезжай. Ильич сколько раз у нас на Трехгорке выступал, он же наш с самой Революции депутат. — Подошла, присела к столу, погладила Гришутку по льняной голове. — И знаешь, Даня, ничего, ну вот ничего в нем такого особенного нет, только что, видать, добрый очень. И еще — глаза, будто в самую душу тебе смотрят, смотрят и этак умненько посмеиваются... И блещут, и смеются... Вот встретишь на улице и мимо пройдешь, ни за что не подумаешь. Простой-простой. И одетый как все... И вовсе он не высокий и, видать, не сильный... Но уж как говорит — прямо до самого сердца слова достают, так всю душу и расковыривают. И потом только удивляешься сама на себя: да как же это я таких самых простых вещей в понятие взять не могла? Прямо чудо какое-то!

Помолчав и снова погладив Гришутку, отошла от стола хлопотать по своим женским, хозяйственным делам. Вечером я снова зашел к столяру.

— Эх, Петрович, если бы мне в вашу мастерскую устроиться, — вздыхал я. — А? Увидел бы я его?

— А как же! Теперь вот мы к съезду карту огромную, с лампочками со всякими разноцветными, готовим, какая-то карта электрическая будет. Ну тут, конечно, и электрики с нами, наше дело каркас, рама там, рейки — поделки всякие. А они се всю как есть проводами опутали... И всё на бумажки заглядывают, как бы промашки какой не вышло... А вчера в мастерскую пришел один седенький такой, нос с горбиком и брови вроде как два крылышка, проверял, значит, как лампочки поставлены. Я и спросил его: «А что же это, говорю, товарищ, за игрушка такая? Чего она обозначать приставлена?» Смеется: «Наше, дескать, будущее, старина...» — «Будущее?» — спрашиваю. «Ага, старина. На месте каждой лампочки построим электрическую станцию, и будет она освещать нашу с тобой жизнь!» И, конечно, ушел...

А еще через день, после очередного разговора с Романом, я пошел в театр помогать Петровичу. К съезду готовилось много плакатов, щитов; чинили мебель, что-то красили, малярили. И, хотя я в этом искусстве не особенно был искушен, Петрович взял меня к себе в подручные. И никто не знал, что было у меня особое поручение.

Когда работы в мастерской оказывалось мало, я бродил и бродил по театру, заглядывая во все темные углы, и постепенно приобщался к его жизни. Я любил слушать сыгровки оркестра, и мне казалась смешной и ненужной гневная, размахивающая палочкой фигура дирижера, трясущего седой взлохмаченной головой...

И даже сны мои в те дни были отражением моего ожидания, исполнения моей мечты. Однажды приснилось, что в мой далекий городок, затерянный в Заволжье и помеченный на географических картах точкой не больше макового зерна, приехал Ильич, а я будто бы работал на маленьком чугунолитейном заводике Хорякова. Мы отлили чугунную плиту. В темно-красный квадрат остывающего чугуна глубоко врезались слова: «Да здравствует мировая революция!» И Ленин в этом сне был именно таким, каким я представлял его себе: большим и почему-то с черной бородой и с огненными, сверкающими глазами. Посмотрев плиту, он показал на нее пальца-

ми и сказал мне: «Эти слова, Данил, написаны моей кровью»...

Возвращаясь из театра, я забежал на минутку к Жестяковым, а почевать отправлялся к Ферапонтычу. Роман Гаврилович то и дело напоминал мне о необходимости следить за Граббе. О театре я своему бородатому хозяину ничего не говорил. Он по-прежнему жил в страшном и словно заколдованном мире, населенном призраками погибших, полный страха возмездия и смерти, которая, как ему казалось, бродила недалеко.

Но однажды я не вытерпел, рассказал. Ферапонтыч был в тот вечер почти трезв, сидел на постели, сунув свои тяжелые руки между колен, и тупо смотрел в пол перед собой. Я выпил свою вечернюю кружку кипятку и собрался лечь, чтобы, укрывшись с головой, отправиться в радостную страну своих мечтаний. В те дни я перестал замечать нищету разорванного военной разрухой города, ободранные трамваи, сугробы в рост человека, заколоченные витрины, вытянувшиеся на кварталы очереди перед продуктовыми лавками, я даже не чувствовал голода, хотя в столовой получал на свою карточку вместо обеда один чечевичный или шрапнелевый суп, второго блюда почти никогда не было.

Когда я снял валенки, собираясь лечь, Ферапонтыч поднял голову и, сунув под седую бороду руку, поскреб грудь.

— Тебе хорошо, — с тоскливой завистью сказал он, — ты молодой. Никакая еще могила тебе не страшная... А я вот... Зачем жил? Ну зачем? А? Вешал людей, за чего — не знаю... И что, Данилка, меня больше всего мучает?.. Сейчас больше расстреливают, а тогда все только вешали. И перед этим самым, ну перед вешаньем, что ли, обязательно мешок, вроде савана, на человека надевали... И вот, как сейчас помню, молоденький такой, а глаза как угли. Подхожу я к нему с мешком с этим последним, а он как на меня посмотрел и говорит: «Руки-то не дрожат? Не меня ведь, себя вешаешь». Ну, глупые, конечное дело, слова, вон я до каких годов живу и живу, а от него уж, поди, и пыли не осталось... И все ж таки запали эти слова мне в самое сердце... И ведь что страшно мне: не кричал, не бился, ничего не просил... Только усмехнулся



так, ну с этойкой невозможной усмешкой — и все... И принял смерть. А сам из себя жиденький, хлипкий, соплей перешибить... Уж и тогда укусила мне за самое сердце мысль: вот, дескать, я, какой я сильный и могутной против этого щенка, а нет у меня сердца так же бесстрашно смерть принять, не могу... Почему, спрашиваю? Что же я — хуже его, что ли?! А?! Я тебя спрашиваю... И вот взяла меня тогда злость на себя и на всех людей... И все думаю: ну, пахал бы я землю, сеял бы, детишки бы у меня по двору бегали... Знаешь, у нас по деревням они все больше белоголовые, вроде одуванчиков, ну дунь — и полетит... Пришел бы с поля домой, а они кругом шумят: батя, батенька! А я их на коленки себе сажаю, — даром что вся тела моя дрожит от труда. И такое от них тепло, — такая радость...

Я слушал косноязычный, наполненный страданием бред, но чувствовал к этому человеку только ненависть. Нет, ни тогда, ни потом я не прощал врагам Революции того, что они делали; не могло быть и мысли о том, чтобы прощать палачам... Как-то много лет спустя я натолкнулся на книгу профессора Гернета «История царской тюрьмы» и прочитал, что только за полгода в 1907 было в России повешено больше тысячи человек. Тогда я этого еще не знал.

Я сказал Ферапонтычу:

— А вы не бойтесь: Советская власть добрая. Покайтесь, расскажите все, как было, — может, простят. Ведь вы помните, что и смертная казнь у нас была отменена, и уж после того, как хотели убить Ильича, снова ввели расстрел... А теперь, в январе этого года, опять отменили. Был декрет Ленина. Теперь опять не расстреливают.

При имени Ленина Ферапонтыч судорожно вскинулся и крикнул:

— Антихрист! Антихрист! Нету другого ему звания! — и замолчал и, странно обмякнув, осев, тихо и приглушенно сказал: — А может, он правый? А?.. Вот у меня еще дружок был, тоже моей судьбы человек... И вот как-то, пьяненький, рассказывал: вешал он в Шлиссельбурге, еще в 1887, пятерых, — один из них и был вроде брат вашего Ленина. Тоненький такой мальчишечка, а сила в нем какая, ух ты! Диву прямо даешься: откуда у них, у

безусых, это берется, нечеловеческое к смерти презрение? А? Словно и жизнь им вовсе не дорогая, будто умереть — к теще сходить, чаю попить...

— Потому, старик, что они правы... Вот вы верите в бога, в Христа...

— Христос! — перебил он. — Ему бессмертие с самого начала отцом положено, вот он и мог. А они? Нет, это вопрос. Ну вот, скажем, я испугался своего смертного часа и пошел провожать на тот свет других... И всякий другой на моем месте так же бы. И греха тут моего нету... Так и так, а ему, которому приговор, конец, — я ли, другой ли будет веревку намыливать. А они-то зачем? А?

Он говорил, не поднимая глаз, только шевелил руками, почесывал их одна о другую.

Чуть светила под потолком угольная лампочка, копились в углах тени, все толще становилась на окне ледяная броня.

— Горит! — перебил сам себя Ферапонтыч. — Все у меня в грудях горит. Нету мне никакого терпения... И опять, слышишь, шаги...

Я прислушался: на этот раз действительно за дверь звучали твердые мужские шаги. В дверь постучали, и голос Шустова позвал:

— Старик! Открой.

— Господи, и когда они от меня отцепятся! — вздохнул Ферапонтыч, вставая. — Вот уж третий, что ли, год жилы из меня тянут...

Теперь Шустов был одет в кожаную короткую куртку, на голове заливчатски сидела кожаная фуражка. И вообще выглядел он теперь совсем по-иному, словно только что вернулся с фронта, где, не щадя живота, громил врагов революции.

— Чего же не приходишь, старик? — спросил он. — Замерзаем.

— Не стану я больше, Аркадий Полоныч, на вас работать! — ответил не торопясь Ферапонтыч. — Устал. Мочи нету! Понимаешь: мочи нету. И все равно мне теперь конец!

Шустов внимательно посмотрел на дворника.

— Заболел, что ли?

— Ну, заболел! До смерти-то полшага осталось...

— Ну-ну... — Шустов постоял, подумал, нерешительно глянул на меня. — А может, ты? А? Ну, там воды принести, дровишек где-то набрать... А? Я заплачу...

— Могу...

Так случай и привел меня в дом, где нашел свое последнее пристанище Аркадий Аполлонович Шустов, один из потомков знаменитого когда-то коньячного короля России.

Это была богатая, хорошо обставленная, хотя и небольшая квартира. О былом богатстве здесь рассказывали ковры и картины, люстры и канделябры, дорогая венская мебель, огромный, как орган, буфет резного дерева, увитый деревянными кистями винограда и хмеля, с рогами изобилия и пухлыми купидонами. В передней, прямо против входной двери, висела картина, где плескалось южное ночное море, освещенное мирным огнем рыбацкого костра; сушились на кольях сети, черные мачты со спущенными парусами рассекали драгоценную бирюзу неба. Мне это едва видимое в полутьме видение напомнило недавно покинутый Севастополь, крупные трепещущие звезды, брошенные в море и качающиеся на ночных волнах, и бесконечный шум прибоя, и мокрый скрежет перекачиваемых волной камней...

Когда я поднимался на третий этаж, где жил Шустов, мне казалось, что я уже близок к цели, что теперь легко и скоро помогу разоблачению притаившихся врагов. Правда, Роман Гаврилович, которому я рассказал о событиях этого дня, предупредил:

— Не думай, Данил, что такие уж они дураки. Смотри, не съели бы тебя.

— Подавятся, Роман Гаврилович!

— Ну, как говорится, дай бог. Но, повторяю: играй с ними в самую беспощадную контру...

— Попробую.

Но все оказалось не так, как я ожидал. Я думал, что Шустов мне сейчас же поручит что-нибудь такое, что поручал Ферапонтычу, пошлет куда-то с письмом, и тогда сразу черная география заговора начнет вырисовываться яснее. Но...

Шустов вышел ко мне в переднюю в накинутаой на плечи шубе. Чуть тлела под потолком угольная лампочка:

у них еще не был израсходован месячный лимит. Я стоял у порога, мял в руках облезлую шапчонку.

Шустов подошел и несколько долгих секунд всматривался в мое лицо.

— Ты знаешь, голубчик, у меня все время впечатление, что я тебя где-то встречал раньше. А? Правда, таких физиономий, как твоя, передо мной за эти годы прошло много... А впрочем, я не о том. Проходи, поговорим...

Я обмел варежкой валенки и пошел следом. Да, здесь все еще пахло былым богатством, здесь, наверное, в течение многих десятилетий жили люди, не знавшие, что такое холод и голод.

Мы прошли через большую комнату, посредине которой стоял круглый стол и кресла в полотняных, давно не стиранных чехлах; на стенах висели натюрморты — битая дичь и сверкающая чешуей, скользкая, словно пахнущая морем рыба, корзины цветов и земляники. В углу бронзовая девушка поднимала вытянутой рукой факел, на ее плечах и руках серела пыль.

В комнате, где жил Шустов, стоял только диван, стул и маленький изящный столик; что-то говорило, что раньше в этой комнате жила женщина. Над столом висела большая копия рафаэлевской Мадонны, фотография самодовольного черноусого красавца в капитанских погонах и под ней — букетик бессмертников. На полу, возле дивана, стояла глубокая тарелка, полная окурков.

— Садись, — показал на стул Шустов, а сам закурил и прошелся по комнате, прислушиваясь к неясному шуму в соседней комнате. — Куришь?

— Нет.

— Молодец. Дурацкая привычка. Но — иногда легче. Слабость, конечно. Ты будешь дворничать вместо него?

— Не знаю. Если возьмут.

Из соседней комнаты женский голос слабо, чуть слышно позвал:

— Ия!

Шустов сердито бросил окурки в тарелку на полу, кивнул мне: «Сейчас» — и ушел, плотно притворив за собой дверь. Я сидел, прислушивался.

Напротив меня висели старинные стенные часы, циферблат, обвитый резными из дерева листочками, из окошка которого когда-то, наверное, выскакивала кукушка, отсчитывая часы. Теперь часы стояли, медный диск маятника, напоминавший луну, смотрел в комнату, как глаз внезапно застывшего времени.

Вернулся Шустов, лицо его было озабоченно.

— Так вот, — сказал он. — Там, — показал на дверь соседней комнаты, — жена. Ну, понимаешь, — жена. Больная. Понимаешь? Надо, чтобы всегда было тепло. Где-то достать дров, натопить, принести воды. Все это делал старик... Ну, а теперь...

Он прошелся по комнате, остановился возле меня.

— Будешь приходить утром и вечером. Так?

И снова из соседней комнаты позвал гаснущий женский голос:

— Ия!

Шустов снова ушел. На этот раз он прикрыл дверь неплотно, и до меня доносились их голоса, сердитый — Шустова и женский — слабый и капризно-нежный. Она говорила:

— Ну, милый, мне так трудно, когда тебя нет. Как будто всю жизнь ночь. И — лед.

— Потерпи, — раздраженно отвечал Шустов. — Потерпи. Еще несколько дней, и все повернется. Понимаешь, только надо... И все вернется...

— Ничто не вернется! — вздохнул женский голос.

— Всѐ! Всѐ, что принадлежит нам по праву рождения, по праву, данному богом. Но ты пойми, если будем сидеть сложа руки, кто же будет делать эту очистительную работу? Кто? Неужели ты хочешь окончить жизнь прачкой?

Они еще что-то говорили, но уже тише, я не мог уловить смысла — только отдельные слова.

Затем Шустов снова вышел ко мне, его чеканное лицо было жестким и сердитым. Подошел, грубо спросил:

— Ну, согласен? Только смотри, чтобы всегда было тепло.

## «ШАГИ СУДЬБЫ»

Уже поздно вечером я добрался до квартиры Корожды. Но его все еще не было дома. Тетя Маша стирала в жестяном тазу Гришуткины рубашонки и штанишки, а он сидел возле и серьезными задумчивыми глазами смотрел на руки матери, на летящие из-под них мутные брызги. Укутанный в старый отцовский бушлат, неровно подстриженный ножницами, он напоминал галчонка, выпавшего из гнезда и не знающего, что делать.

— А, Даня, — сказала Маша, с усилием выпрямляясь. — А мы вот с сыночком, видишь, постирушками занялись. Мыла нету, золой приходится...

Я снял пиджак, потрогал свою шинелишку, висевшую в углу, подсел к Гришутке:

— Здравствуй, Гриш.

— Здравствуй. — Темные вишневые глаза посмотрели на меня серьезно и вдруг оттаяли, улыбнулись: мальчик сразу стал похож на мать. — А папки все нету. Долго нынче.

— Соскучился, милый? — спросила Маша.

— Ага! Он же селедок хотел принести.

— А ты любишь селедки? — спросил я.

— А их кто же не любит? — ответил мальчуган, с удивлением посмотрев. — Они же соленые. Я, когда вырасту, всегда селедки домой носить стану. Правда, мамка?

— Правда, правда, сынок. И селедок, и еще чего. Хлебушка белого.

— Ага! Он вкусный какой, знаешь? — И вишневые глазки посмотрели на меня с доверием и радостью. — У нас в садике два раза давали — ух и вкусно же!

Да, все еще голодали дети, и кусочек белого хлеба и селедочный хвост казались самым вкусным, что есть на земле.

Маша выжала рваные, в заплатках, серые, застиранные одежонки сына, повесила над печуркой, присела. Большие, красные, распаренные руки тяжело легли на колени. Но лицо у нее было задумчивое и доброе и словно светилось изнутри. Устало улыбнувшись своим думам, она обняла Гришутку за голову, притянула к себе. Тот с

торопливой и радостной благодарностью ткнулся носом в ее плечо, засопел.

— Ну что? Что? — спросила она.

— Тобой пахнет, — шепотом ответил он и снова прильнул.

— Эх ты, маленький, грошовенький мой, бриллиантовый... — Помолчала. — Что ж, это, правда, Ромась-то как задержался? Не случилось ли чего? По вашей-то работе каждую минуту беды ждать...

Но беды никакой не случилось; Роман пришел оживленный, довольный и принес большую ржавую селедку.

— Ага! Я говорил, говорил! — с торжеством закричал малыш, бросаясь к отцу и обхватив ручонками его ноги выше колен. — Вот он, папка! Мамка, гляди, какая толстая селедина! У!

Маша подошла к мужу сзади, помогла снять шинель и, обняв его большими и сильными руками, прижалась к его спине лицом.

— Ромась! Милэсенский мий!

— Ну-ну! — деланно сердито прикрикнул он. — Со всех сторон нападают. И там, и тут.

— Боже мой, — вздохнула Маша, смущенно поправляя волосы. — И как ты с одной-то рукой с ними, с гадами, воюешь?

— А и вторую когда отстрелят, я их зубами грызть буду! Я — зубастый! — весело отозвался Роман. Обнял Гришу одной рукой, приподнял и прошел к столу. — Прямо жизни от них, Данил, нет. То спекулянты, то контра всякая, то теперь — еще попы! И мутят, и мутят, и лезут изо всех щелей, мора на них нету... Из многих церквей да монастырей золотишко поховали, ризы там, кресты всякие и — никаких человеческих слов не понимают! Им про детишек голодных рассказываешь, про то, что Америка золото за помощь спрашивает, — им как вот стеной! Словно и сердца в них нет... — Он помолчал, прижал голову сына к своей груди, потерся носом о детский затылок. — Ну, кое-кого мы нынче распотрошили, на Воробьевых... И знаешь, куда всё это божьи гусеницы прятали? Вот, Маша, никак не угадаешь!.. В ведерный чугунок сложили, сковородкой накрыли, увязали это хозяйство проволокой, да все прорешки варом заделали.

И — куда, думаешь, Данька? В нужнике у себя во дворе утопили...

— Тьфу! — плюнула в сердцах Маша.

— Вот тебе и тьфу. Спасибо, мальчонка один видел, — так бы и затаили добро.

— Мальчонка — вроде меня? — спросил Гришутка, поднимая на отца глаза. — Да?

— Вот-вот. В точности ты!.. Ну, у тебя что, Данил?

Я рассказал обо всем, что произошло.

— Ну, это же совсем здорово! — обрадовался он. — Этак же ты в самое их гнездо влез. А старика этого, шкуру, пожалуй, теперь и прибирать можно? А? Сколько еще их, тварей таких, по нашей земле ползает!

Но «прибирать» Ферапонтыча не пришлось.

Когда я, уже ночью, вернулся, я не смог достучаться в наше подвальное с ним логово, и пришлось идти ночевать к Петровичу.

— Давай, давай, проходи, Данил, мы всегда рады. Тем более нынче у нас вот Кирюшкин день — семнадцать стукнуло. Ишь какой мужик вымахал! Ради такого дня я в театре политурки себе малость накапал, очистил по возможности угольком. Гадость, конечно, а все лучше, чем всухую... Вот и опрокинем за его счастье мастеровое по наперсточку...

Я переночевал у Петровича, а утром снова долго стучал. Ферапонтыч не отвечал, не отзывался. Ни друзей, ни родных, где бы он мог заночевать, у него не было, — только несчастье могло где-то задержать его. Но и ключа на условном месте не было. А ведь он так боялся своего ночного одиночества: он всегда оставлял для меня ключ.

Мы снова долго стучали, не получая ответа; удары в тяжелую дубовую промерзшую дверь гулким эхом неслись по всем этажам дома, дребезжали осколками стекла в парадных дверях. Ничего, никакого ответа.

Тогда мы с Петровичем прошли во двор, распахивая ногами сугробы, пролезли к окну, — снег здесь лежал чуть не на высоту человеческого роста. Ржавая пожарная лестница карабкалась над окном в дымное, затянутое морозным туманом небо, вдоль стен высились горы мусора и нечистот, которые выбрасывали из форточек верхних этажей.



Я прильнул к стеклу и, защитив ладонями глаза, долго и тщательно всматривался, стараясь разглядеть что-нибудь за раскиданными по стеклу листьями морозных узоров, — ничего, даже теней.

— Ну что? — спросил Петрович.

— Ничего не видно.

— Может, стекло выдавить?

— Вдруг заболел, лежит? Кровать-то как раз под окном. Как потом дальше жить? Замерзнем.

Мы вернулись в коридор и опять долго стучали. Сверху кто-то зло кричал старческим голосом:

— Кого там нелегкая давит? Покой дайте! Покой! Умереть допустите спокойно, ироды!

Собрались жильцы с бельэтажа, из первого этажа, и все, перебивая друг друга, стали ругать Ферапонтыча, его нелюдность, его безумный взгляд, путаную речь. И, как бывает всегда, нашлись люди, которые, оказывается, давно примечали за стариком неладное. Одна старушка, повязанная поверх шали черным с красными кантами казачьим башлыком, с рваной кошелкой в руках, щебетала, дуя на высохшие пальцы:

— Я сразу же, сразу заметила, господа, то есть, извините, граждане... сразу заметила. Было в нем что-то такое, ну непонятное. Я прямо ночи не спала, все боялась: вдруг придет и зарежет. И Катеньке, сестрице своей, сколько раз высказывала... И теперь уверена, это его в Чека забрали, больше куда же, посудите сами. Только в Чека. Он самогонку гнал и торговал, от него дух всегда пьяный шел...

Посоветовавшись, мы снова вышли во двор и выбили в окне нижнее, самое маленькое стекло. Спертым запахом давно немытого, неприбранного жилья, кислой вонью овчины, застарелым духом крепкого табака пахло сквозь обледенелые осколки. Я наклонился и заглянул в иззубренное отверстие и отшатнулся: в полуметре от моих глаз, на высоте выбитого стекла неподвижно висели подшитые кожей серые валенки.

Все, кто собрался под окном, по очереди, не говоря ни слова, заглянули в теплящуюся едва заметным паром дыру. Каждый заглядывал и сейчас же отшатывался и отходил, давая место другому.

— Шаги судьбы! — непонятно сказал Петрович, снимая шапку.

Через полчаса я сидел на той самой лавке, на которой спал, а напротив меня, на своей кровати, лежал, неестественно вытянувшись, мой бывший квартирный хозяин. Лицо его было накрыто тряпицей с выцветшими цветочками, руки вытянуты вдоль тела. Из-под тряпицы торчала седая всклокоченная борода. А рядом со мной сидел молоденький милиционер, мы ждали прихода следователя: он должен был допросить меня, так как последнее время с самоубийцей жил я.

Петрович ушел на работу, в дверях толпились жильцы, заходили, прослышав о происшедшем, и из соседних домов, но милиционер махал рукой: «Нечего, нечего! Проходите!» И, потоптавшись у порога, любопытные исчезали.

На столе, недалеко от меня, стояла пустая бутылка, лежала уже знакомая мне тряпица, в которую старик заворачивал свое «последнее» мыло, из-под покрывавшей постель дерюги выглядывал угол отпертого и открытого, окованного жестью сундучка. Топор, как и всегда по ночам, лежал перед иконой на табурете.

— И с чего это он? — спрашивал меня милиционер, теребя крошечные, только пробивающиеся усики и то и дело с важностью поправляя пустую кобуру. — Вот ведь... живет человек, живет, и вдруг — на. И главное, теперь — после революции. Ну будь он какой буржуй, или министр, или там генерал — тогда все, тогда без слов, а ведь дворник... вроде тоже — рабочий... И не голодал, ишь какую посудину перед смертью опорожнил... — И милиционер брал коньячную бутылку и нюхал горлышко... — А вкусно...

Мне не хотелось рассказывать о Ферапонтыче этому безусому пареньку. Я думал, что сначала надо посоветоваться с Романом.

Какое-то движение послышалось в коридоре, я посмотрел в холодный, темный тоннель, где угадывались чьи-то тени. Раздвигая любопытных, в дверях появился Шустов. Не обращая внимания на милиционера, подошел к кровати и, приподняв тряпку, закрывавшую лицо дворника, секунду смотрел, словно хотел убедиться, что

старик в самом деле мертв. Брезгливая гримаса на мгновение тронула его красивые губы.

Милиционер встал возле стола, он, видимо, принял Шустова за какое-то начальство.

— Давно? — строго спросил Шустов.

— Да, видно, ночью.

— Так. — Шустов мгновение подумал, еще раз оглянулся на неподвижное тело, потом мельком на меня. И ушел.

Через два часа мертвое тело увезли.

## Оля и я

Оля поправлялась. Теперь она уже могла подолгу сидеть на тахте и иногда с моей помощью делала по комнате несколько неуверенных шагов. Ей очень хотелось что-нибудь увидеть в окно, она с нетерпением ждала, когда сквозь корочку льда на стеклах пробьется солнечный луч. Ждала и тосковала. Она удивительно вытянулась и повзрослела за время болезни, словно болезнь эта длилась не недели, а годы, и в лице у нее появились новые черты, будто она все раздумывала и раздумывала над чем-то сложным и трудным. И улыбка у нее стала другая — медлительная и как бы через силу; улыбаясь, она словно понимала, что улыбаться ей совершенно нечему, что впереди ничего радостного нет.

Она читала и, вернее, не читала, а перелистывала книги, которые я доставал ей с разрешения Алексея Ивановича из многочисленных шкафов. Я выбирал книги с многокрасочными иллюстрациями, может быть, потому, что мне самому нравилось перелистывать и рассматривать эти книги, где рассказывалось о далекой чужой жизни. С их страниц смотрели причудливо расписанные и украшенные перьями и раковинами вожди каких-то африканских и индейских племен, вонзались в синее и словно эмалированное небо позолоченные и посеребренные иглы минаретов, тяжелыми каменными глыбами громоздились тысячелетние усыпальницы фараонов и полководцев.

— Это для меня все равно что сказка, — вздохнула Оля однажды.

— Почему? Это же правда.

— Для меня — неправда. Потому что я там никогда не буду и ничего этого не увижу. Как сон.

Теперь часто бывать у Жестяковых я не мог: днем работал в театре, рано утром и поздно ночью ходил на «дровяную охоту», чтобы топить шустовское жилье. Но мое «лакейство», как я мысленно это называл, моя слежка за Шустовым оказывалась пока совершенно бесполезной: я не видел никого, кто ходил бы к Шустовым, и никаких особенных поручений он мне не давал. Каждый раз я был у него в квартире очень недолго, а убираться по дому и помогать больной приходила старенькая седая женщина. Она смотрела на меня темными агатовыми глазами с пристальным недоверием. И я уже начинал думать, что я вообще ничего не сумею узнать... И все неохотнее и неохотнее исполнял я свои добровольные обязанности, хотя Шустов и платил мне по тому времени хорошо — не деньгами, конечно: они тогда не имели цены, а какой-нибудь едой, хлебом, сухарями, английскими галетами, сахарином. И только ради Оли я брал из его ненавистных рук эти подачки: девочка за время болезни очень ослабла и ей надо было много и хорошо есть.

Обычно я приходил к Жестяковым поздно вечером и сидел час или два, разговаривал с Олей, рассказывал ей о своем детстве. Я перерыл книжные шкафы в надежде найти среди книг «Овода», но нет, не нашел. Больше всего у Жестякова было книг по энергетике, по строительству и проектированию электростанций; их страницы пестрели непонятными формулами, чертежами, какими-то сложными параболическими кривыми и диаграммами.

В те дни мне доставляло радость наблюдать за Алексеем Ивановичем: он пробуждался от своего ледяного сна, от охватившего его отчаяния, становился все более живым. И работал с увлечением, с азартом. Каждое утро он убежал, торопливо поцеловав Олю:

— Ну, будь умницей, Кораблик! Подкладывая в печку вот эти паркетины — все равно когда-нибудь меня за них повесят. А покушать — вот тут. Будешь умницей?

— Да, дядя Алеша. Не беспокойтесь.

И он, бормоча или напевая что-то, состоявшее из чередования «гм-м, бр-бр...», бежал через весь город на

Мясницкую, где в то время в полутемных и полухолодных комнатах помещался «Электрострой», где рождались эскизы первых электростанций ГОЭЛРО. Там суетился профессор Графтио<sup>1</sup>, еще задолго до революции создавший проект Волховской ГЭС, который пролежал под сукном всяческих канцелярий много лет. Только теперь проект гидростанции на Волхове получал воплощение в бетоне и камне, в дереве и железе.

Там, в этих холодных коридорах и комнатках, трудились такие иступленные романтики и энтузиасты своего дела, как Винтер<sup>2</sup> и Кржижановский<sup>3</sup>, Графтио и Радциг<sup>4</sup>, чьи творящие руки раньше были скованы намертво.

Если была какая-нибудь возможность, я старался забежать к Оле и днем; в отсутствие Алексея Ивановича, одна она еще больше тосковала, даже книги не развлекали ее.

Я приходил, стучал и иногда долго ждал, пока Оля, держась за стены, пройдет по комнатам и коридору и отперет дверь. Потом мы оба, немного смущенные чем-то, усаживались поближе к печке, я подбрасывал в нее две-три паркетные плитки, и мы начинали бессвязный нескончаемый разговор. Меня смущал пристальный взгляд больших синевато-светлых глаз Оли, всегда смотревших на меня с невысказанным вопросом: она как будто все еще не могла понять, кто я, что за человек. Часто, чтобы победить охватывавшее меня смущение, я принимался читать ей вслух—обычно что-нибудь из истории: меня привлекали бесконечные войны, из которых эта история слагалась, но я очень многого не понимал сам и не умел объяснить ей. Помню, однажды я читал о войне Алой и Белой розы; Оля осторожно положила на страницу свою узенькую ладонь, закрыв текст, и сказала виновато:

---

<sup>1</sup> Графтио Генрих Осипович (1869—1949) — советский ученый-энергетик, академик.

<sup>2</sup> Винтер Александр Васильевич (1878—1958) — советский инженер, специалист по строительству электрических станций, академик.

<sup>3</sup> Кржижановский Глеб Максимилианович (1872—1959) — старейший деятель революционного движения, ученый, энергетик, академик. В 1920 г. возглавлял Комиссию по электрификации России — ГОЭЛРО.

<sup>4</sup> Радциг Александр Александрович (1869—1941) — советский ученый в области теплоэнергетики.

— И почему ты всегда про это читаешь? Про войну то есть? Зачем всё, зачем, чтобы люди убивали друг друга? Разве нельзя жить просто так, по-доброму?

Я пытался рассказать ей, что знал, говорил о неравенстве и несправедливости, но она только качала своей остриженной, укутанной в шаль головой:

— Не понимаю. Если бы не война—папа был бы жив. И ничего этого: ни теплушек, ни холода, ни буржук, ни плохого хлеба — ничего. Ты помнишь, Даня, когда мы ехали, на одной станции какие-то мертвые возле сарая лежали, много-много...

Вечером возвращался Алексей Иванович, довольный, почти счастливый, бормоча свое «гм-гм... бр-бр», раздевался, отогревался, целовал Олю.

— Ну, в какие страны нынче плавал Кораблик? Было ли ему тепло на Северном полюсе?

— Да, тепло.

Каждый раз он приносил из буфета, который открылся в «Электрострое», какую-нибудь еду и, сам худой и жалкий, скармливал ее Кораблику, а затем принимался ходить по комнате, возбужденно говоря.

— Боже мой! Боже мой! — однажды разволновался он. — Сколько заживо похороненных великолепных проектов, сколько труда! — Он остановился перед тахтой, где лежала Оля, и, жестикулируя, принялся кричать: — Шестнадцать лет работал Зергель над проектом плотины в Гибралтарском проливе! Шестнадцать лет! Плотина — тридцать километров длиной и триста пятьдесят метров высотой! И такую, оказывается, можно построить. Да, можно! Все подсчитано. Только строй!

— А зачем, дядя Алеша? — спросила Оля.

— Зачем? Да ведь это дало бы возможность соорудить гидростанцию мощностью в сто миллионов киловатт! Сто миллионов! Это залило бы светом всю Европу и половину Африки! Светом и теплом! Правда, уровень Средиземного моря понизился бы на двести метров. Такие города, как Неаполь, Марсель, Венеция, оказались бы далеко от берега. Но Венеции это спасло бы жизнь. Она уже сотни лет гниет и разваливается, и восстанавливать ее невозможно... Потом, такая плотина... Это освободило бы, обнажило больше полумиллиона квадратных кило-

метров самой плодороднейшей земли — поистине золотого морского дна! А ведь там два урожая в год!

— Так почему же не строят, дядя Алеша?

— А! — Жестяков с ожесточением махнул рукой. — Похоронили! А предложение повернуть реку Конго в озеро Чад! Там образовалось бы огромное море. И все кругом бы ожило! А проект Полло<sup>1</sup>, похороненный на Четвертой энергетической конференции, — сбросить часть воды Средиземного моря в Каттарскую впадину в Ливийской пустыне!.. Или вот еще. — Он отошел к шкафу, вытащил географический атлас. — Вот смотрите сюда. Эти страны... Тунис, Алжир, Ливия... Часть их территорий лежит ниже уровня Средиземного моря. Если бы воду сбросить туда. На севере Сахары разлилось бы море в четверть миллиона квадратных километров! И пустыня бы ожила! А там земля дает три-четыре урожая в год! Человечество никогда не знало бы голода...

В тот вечер он казался почти одержимым, этот седой всклокоченный человек с загоревшимися, ожившими глазами... И, хотя тогда я многого из сказанного им не представлял себе в полном объеме, я заражался его верой, его энтузиазмом, заражался и завидовал.

Когда я рассказал у Жестяковых о смерти Ферапонтыча, о его страшном ремесле и о его кошмарах, Оля долго смотрела на меня изумленными, полными страха глазами, а Алексей Иванович поморщился, словно ему сделали больно.

— Да, шаги судьбы... И вот знаете, Данил, я не раз об этом думал. Вот идешь по улице, или в очереди стоишь, или — в трамвае... и рядом с тобой люди. И ничего о них не знаешь. И, может, такие, как ваш Ферапонтыч, встречаются нам и мы даже разговариваем с ними и не знаем, что они вешали или стреляли — по двадцать пять целковых за голову... или сколько там ему платили? А ведь и он приходил домой, мыл руки и садился ужинать. И у него, видите ли, дети. И он их любит. — Остановившись, Алексей Иванович задумчиво почесал небритую щеку. — Значит, не вынесла черная душа?... Только, Данил, зачем же все это Корабликам рассказывать? А? Жизнь у них только начинается...

<sup>1</sup> Полло — крупный итальянский инженер.

— Больше не буду. — Я и в самом деле пожалел о том, что рассказал: такими испуганными, такими большими глазами смотрела на меня Оля.

— И ты и теперь там спишь, в его комнате? — спросила она.

— Нет. Там же окошко выбито. Холодно.

— А правда! Где же вы приклоняете свою голову? — спросил, снова останавливаясь, Алексей Иванович. — Соседство с такой особой даже в воспоминаниях вряд ли приятно.

— Сейчас ночью у соседа, у столяра.

— А ты, Даня... — начала было Оля и замолчала, смутилась.

— Что, Кораблик? — спросил Алексей Иванович.

— Так... ничего.

— А я ведь знаю, что ты хотела сказать, — засмеялся и погрозил пальцем Жестяков.

— Что?

— Ты хотела сказать: «А ты, Данил, приходи к нам»...

— И вовсе нет!

— «...а то мне скучно, видите ли...»

— Да ну вас, дядя Алеша! Всегда вы выдумаете! — Оля покраснела, на ее восковых щеках проступили розовые пятна румянца.

— А вы и правда, Данил, перебирались бы к нам, — уже серьезно и с просьбой предложил Алексей Иванович. — Объесть нас вы не сумеете, потому что у нас у самих есть нечего. А спать будете на самом теплом местечке, рядом с этим чугунным божеством. А?

Это было заманчиво и приятно, тем более что теперь я не испытывал ни недоверия, ни неприязни к старому инженеру: он тоже приобщался к нашему делу, в нем с каждым днем сильнее разгорался тот творческий огонь, который растапливает любой лед и согревает сердца.

И было у меня еще одно соображение: вот-вот должен был вернуться из Питера Граббе; в те дни мне случайно попал под руку учебник французского языка, и я начал зубрить слова, — мне хотелось понимать хоть часть того, что Граббе говорит Алексею Ивановичу, хотелось понять, о чем они спорят. Но из этой затеи так ничего и не



вышло: я сумел заучить всего несколько десятков слов, когда снова появился Краб.

Уже кончалась подготовка к съезду Советов, карта ГОЭЛРО была окончательно смонтирована, опробована и стояла теперь близко от сцены, прикрытая на всякий случай драным холстом, на котором была выписана безмятежная морская даль, розовая от закатного, распростертого над ней неба. Мы с Петровичем соорудили из фанеры и досок огромную фигуру красноармейца, поддевшего на штык извивающегося маленького Врангеля, — у него, как мне помнится, даже была сигара во рту. Соорудили мы и капиталиста в высоченном цилиндре и с толстым пузом, с денежным мешком в одной руке и с кандалными цепями, взятыми из бутафорской — в другой. Эти фигуры, раскрашенные художниками, были выставлены на улицах и долго собирали вокруг себя толпу.

Помню вечер за несколько дней до открытия съезда.

Алексей Иванович сидел за своим рабочим столом с логарифмической линейкой в руках и, бормоча «гм-гм... бр-бр», что-то старательно подсчитывал. Он теперь даже по ночам вскакивал со своего узенького деревянного диванчика возле двери, на котором спал. Непонятные слова то и дело срывались с его губ, мы с Олей только тихонько посмеивались над ним, над какими-то бьефами и гравитацией, над тальвегами и водосборными бассейнами: для нас это была китайская азбука.

Тихонько, стараясь не мешать ему, мы разговаривали. Я сел на край тахты, прикрыл Оле ноги, с них то и дело сползала шубенка. Портрет Юлии с задумчивой лаской смотрел на нас, отсветы пламени, ложившиеся на него из распахнутой печной дверцы, странно оживляли и красили ее лицо.

— Расскажи мне что-нибудь, Даня, — попросила Оля. — Так мне что-то скучно, так скучно!

И я опять рассказывал про свое детство, про разные мальчишеские шалости, про голубей, про то, как мы пугались в Калетинском парке привидения, а привидением оказался старенький сторож, который по ночам напятивал белый балахон и в таком виде бродил по берегу пруда, изображая привидение и отпугивая мальчишек.

— А мне вот как будто и вспомнить нечего, — вздохнула она. — Подружек не было, почему — и сама не знаю. И только и помню одно — море. И Хабибулину собаку. Ее Шайтаном звали. А она вовсе и не злая была. И меня любила...

## ИСЧЕЗНУВШИЕ РЕЛИКВИИ

Следующий день был полон неожиданных и значительных событий. Мы с Петровичем пробыли в театре до поздней ночи: кончались последние приготовления к съезду. Охрана съезда старательно обшаривала здание: еще не была забыта бомба с часовым механизмом — их тогда называли адскими машинами, — кем-то запрятанная в подвал театра накануне собрания партийного актива Москвы в прошлом году. Помнили и взрыв бомбы, брошенной эсером Донатом Черепановым в окно Московского комитета партии в Леонтьевском переулке, когда были убиты Владимир Михайлович Загорский и еще одиннадцать коммунистов: Игнатова, Волкова, Титов и другие товарищи — и тяжело ранено более пятидесяти человек. Контрреволюция жила тайной, скрытой от нас жизнью, но все еще жила, все еще приходилось самым тщательным образом беречь — прежде всего — жизнь Ленина.

Когда мы с Петровичем, возвращаясь, подходили к своему дому, меня удивило странное обстоятельство, которого я никогда не замечал раньше. На третьем этаже, на подоконнике выходившего на улицу окна, стояла зажженная керосиновая лампа, от ее тепла на стекле вытаял круг льда, и теперь лампа была хорошо видна. Кто поставил ее на окно? Зачем? Вспомнив расположение комнат в квартире Шустова, я понял, что горит лампа на окне его кабинета, где я разговаривал с ним первый раз. Может быть, это условный знак? Кому? О чем?

Дворника вместо Ферапонтыча в нашем доме тогда не было. Немного обогревшись, я отпер его конуру, взял лопату и вышел на улицу. Весь тот день валил рыхлый сырой снег, к вечеру улицы Москвы стали совсем белыми. В снегу петляли протоптанные пешеходами дорожки. Не

спеша я принялся очищать тротуар, а сам все посматривал на горевшую в окне третьего этажа лампу. Ее свет казался особенно ярким потому, что большинство окон было едва освещено — тускло серебрился на стеклах лед, и за ним, где-то в темной глубине жилья, бессильно, в четверть накала, мерцали электрические лампы.

«Странно, — думал я. — Если бы лампа стояла в комнате больной, это можно было бы объяснить тем, что положение жены Шустова стало серьезнее, тяжелее. Лампу могли поставить куда угодно и просто позабыть о ней, если жизни больной угрожала опасность, если она, скажем, умирала. Нет, — думалось мне, — неспроста врывается в зимнюю тьму неосвещенных улиц этот свет».

И предчувствие не обмануло. Примерно через полчаса я увидел на противоположной стороне улицы двух человек. Они медленно шли, перекидываясь какими-то неразличимыми словами, и остановились, закуривая, против нашего дома. Продолжая чистить снег, я наблюдал. Они постояли, оглядываясь во все стороны, потом неторопливо пошли дальше, до перекрестка, и там перебрались на нашу сторону улицы. Я чистил снег, словно и не видел их, а внутри у меня все дрожало от нетерпеливого ожидания.

Мои глаза уж привыкли к полумраку неосвещенных улиц, но если бы не лежал в улицах только что выпавший снег, мне, пожалуй, было бы невозможно разглядеть этих ночных гостей. Один из них был в длинной кавалерийской шинели, такой же, как носил в ту пору Дзержинский, и в мерлушковой солдатской шапке, другой — в пальто с поднятым, закрывавшим лицо воротником, у этого второго под низко надвинутой шапкой настороженно поблескивали стекла очков или пенсне. Они поравнялись со мной и остановились.

— Бог на помощь, дружок, — сказал тот, что был в штатском, — снегу-то, снегу навалило. Не жалеет господь вашего брата, дворников.

Я выпрямился, вздохнул.

— Люди не жалеют, так чего же богу жалеть?! — как мог грубее и злее ответил я. — С голодухи ноги вовсе опухли, а тут скреби да скреби ее, проклятую. И когда это, к чертовой матери, кончится?!

— Ничего, дружок, все будет хорошо, — ласково отозвался человек в пенсне. — Пойдем, однако.

И они исчезли в крошечной тьме нашего подъезда.

— Тьфу, черт! — выругался кто-то из них.

Я подошел, заглянул в дверь. Светя себе под ноги зажигалкой и держась за перила, гости поднимались по лестнице, обросшей грязными комками снега.

— Если Краб сегодня вернется... — долетело до меня, конца фразы я не расслышал: они повернули на следующий лестничный марш.

Когда наверху, в глубине дома, глухо стукнула дверь, я отошел от края тротуара и взглянул на окно. Через несколько минут лампу убрали, — значит, больше не ждут. Я решил покараулить, послушать, может, когда ночные гости будут уходить, удастся узнать что-нибудь. Я зашел на несколько минут к Петровичу, посидел, погрелся, потом снова вышел.

— И охота тебе, Данил? — искренне удивился столяр. — И так мы с тобой сегодня намаялись, сил нет. И завтра чуть свет идти надо... Сидел бы в тепле. Придет время — весна все сама уберет... Что, тебе больше всех надо?

— Уж скорее бы тепло, — вздохнула жена Петровича.

Но я все же ушел. Я то ходил по коридору или по улице возле входа, то стоял, прислонившись плечом к холодной стене, то залезал в облюбованное убежище — в темный и холодный, как погреб, закуток под лестницей. Так я провел часа два, не меньше. Но вот наверху послышался неясный шум...

Гости уходили так же осторожно, как пришли, посвечивая себе под ноги зажигалкой, и, видимо, были уверены, что на лестнице никого нет. Негромко переговаривались. До меня долетали непонятные фразы: «Гостевые билеты... А амнистия так и не применяется, так и сидят».

Мне хотелось проследить, куда они пойдут, и я долго крался за ними по безлюдным улицам, пока они не вышли на Тверскую. Здесь былолюдно, и я их внезапно потерял, вернее всего, они юркнули в какой-то подъезд, и я не заметил куда.

Огорченный этим до отчаяния, я побежал было до-

мой, но потом вспомнил, что вот-вот должен вернуться из Питера Граббе, а вернется он, вероятнее всего, к Жестяковым — у него в Москве как будто нет более надежного пристанища. И я побежал к ним.

Оля уже спала, Жестяков работал за своим столом, что-то высчитывал и чертил, заглядывая в разложенные по столу книги, в справочники и чертежи.

— А, воин! — немного удивился он. — Конечно, ночуйте... Гм-гм...

Уже около полуночи в дверь негромко, но настойчиво постучали.

— Однако? — удивился, подняв палец, Алексей Иванович и пошел открывать.

Лязгнули запоры, и почти тотчас же послышался взволнованный голос Граббе. Я не удержался, подошел к двери, выглянул.

Алексей Иванович стоял со свечой в руке, а Граббе поспешно запирал на все запоры дверь. У ног его стоял черный чемодан. Он был тяжелый, это стало заметно, когда Граббе поднял его и понес. Алексей Иванович шел впереди со свечой.

— Нет, нет, старина, если можно, не сюда, — попросил Граббе, когда Алексей Иванович подошел к ведущей в кабинет двери. — Тут у меня всякие драгоценные, но сейчас ненужные реликвии, все, что осталось от моего разбитого корыта. Зачем загромождать твою пещеру? Я, знаешь, поставлю их в Юлину комнату. А?

— Валяй, валяй, — разрешил Жестяков.

— Дядя Володя вернулся? — спросила Оля сквозь сон.

— Да. — Я старательно укрыл ее ноги, а сам постелил себе на полу у печки и лег.

Из комнаты, где стоял рояль, доносились приглушенные голоса, расслышать что-нибудь было нельзя.

Через какое-то время Граббе и Жестяков вернулись в кабинет: хозяин шел впереди со свечой в руке, ее трепетное, прыгающее от движения пламя отбрасывало на стены и потолок огромные изломанные тени. Я притворился, что сплю, а Оля, кажется, и в самом деле опять спала.

Граббе постоял над ней, повздыхал: «Ах, крохотуля,

крохотуля... даже детей не щадит треклятое время!» Отвернувшись, подошел к столу. Свеча стояла на краю, и Граббе долго, наклонившись, рассматривал чертежи.

— Продался, значит, старина? — с усмешкой спросил он. — За чечевичную похлебку? Слаб, слаб человек... Быстро они тебя в свою веру обернули! Да неужели ты веришь, что они способны строить?! Они? Помнишь: «Не создавать, разрушать мастера!»

И тут Алексей Иванович по-настоящему рассердился. Лежа на полу, в тени, отбрасываемой углом стола, я мог следить за выражением их лиц. У Граббе было ироническое, презрительное лицо, губы старались изобразить улыбку, но глаза — как темные провалы, как пустые глазницы.

У Алексея Ивановича седые усы и брови топорщились, взлохмаченные волосы над широким, исполосованным морщинами лбом стояли дыбом. Но он смолчал.

— Ну-ну! — похлопал его по плечу Граббе. — Надеюсь, когда мы окажемся на коне, ты опять переметнешься к нам? А?

И опять помолчали.

— Знаешь что, Владимир, — тихо попросил Алексей Иванович. — Забрал бы ты эти свои... реликвии... куда-нибудь. А?

— Поджилки трясутся? Страшно? — спросил Граббе и, подняв свечу, долго смотрел на меня. — И чего ты всякую тварь привечаешь, Алеша?

— Он Олину жизнь спас...

— Да? Смотри, не пришлось бы своей жизнью платить.

— Это что? Угроза? — сердито поднял голос Алексей Иванович.

Граббе засмеялся.

— Да успокойся ты, успокойся, старина. Какие угрозы?! Где же ты меня спать положишь?

— А вот здесь. Между Олечкиной тахтой и буржуйкой. Прямо плацкарта в первом классе рая. Кормить тебя нечем. Осталось только ей на утро...

На следующий день я ушел из дома чуть свет, побегал прямо к Роману. Он выслушал рассказ с чрезвычайным вниманием.

— Вот это уже серьезно, эти реликвии. Поди-ка, с динамитной начинкой... Мы уже перехватили несколько таких подарочков, все оттуда, из Питера плывут... с другого берега... Ладно. Это мы ночью приберем.

С обыском на квартиру к Жестяковым пришли после полуночи, когда мы легли спать. В комнате было темно, но сквозь ледяную толщу окон в комнату сочился чуть голубоватый лунный свет, все от него казалось призрачным, одетым туманом.

Мы проснулись от громкого стука в дверь. Граббе вскочил первым. Но был он, как показалось мне, странно спокоен.

Алексей Иванович зажег крохотный огарок свечи, отпер дверь. Вошли трое рослых ребят, ни одного из них я не знал и не встречал раньше. Они проверили у мужчин документы и потом предъявили ордер на обыск.

Граббе стоял с неподвижным, замкнутым лицом. Квартира была почти пуста, и особенно искать, казалось, негде, поэтому стоявший под роялем и прикрытый снятой со стены картиной крабовский чемодан был обнаружен очень легко. Один из чекистов вытащил чемодан из-под рояля. К моему великому удивлению, он стал очень легким.

— Чей?

Алексей Иванович молча посмотрел на Граббе, и тот кивнул:

— Мой!

Чемодан был заперт.

— Ключи!

— Потерял, — пожал плечами Граббе.

— Само собой, — сказал чекист, который возился над чемоданом. — Астафьев, ты специалист по замочкам. Ну-ка, ковырни.

Через несколько секунд чемодан открыли, он был полупустой, под бельем лежало столовое серебро, подсвечники, еще что-то. Граббе стоял по-прежнему с замкнутым лицом, но в глазах у него светилось тихое торжество. И только тогда, когда взгляд его коснулся Жестякова, в нем вспыхнула холодная, злая ненависть.

## ТАК ВОТ ОН КАКОЙ, ЛЕНИН!

Среди немногочисленных документов, уцелевших во время тяжелых событий, которые мне пришлось пережить с поры моей юности, сохранился пожелтевший от времени листок: «Обращение ко всем трудящимся России». Вот я беру в руки этот драгоценный, как бы излучающий свет документ, читаю слова, с тех пор навсегда врубленные в память и сердце. Не могу не привести некоторые из них, они тогда с такой радостной и острой болью отзывались в каждом преданном Революции сердце:

«...Красные воины, дети рабоче-крестьянской России, в непрерывных боях с многочисленными врагами на десятках фронтов вы проявили чудеса храбрости и героизма, которые никогда не позабудет спасенная от капиталистического ига страна. Не всегда получая свой кусок хлеба, часто раздетые и разутые, изнемогая от усталости, не получая смен, вы шли вперед, потому что трудовая республика доверила вам свою судьбу и поручила принести ей победу. Наши враги были прекрасно вооружены, хорошо одеты, снабжены всем необходимым. Их обильно снабжали из своих запасов богачи и капиталисты богатейших стран мира, желавшие поработить трудовую Россию в то время, как бедная и разоренная наша страна не имела часто чем обуть и одеть своих защитников. Вы терпеливо сносили все лишения, хорошо понимая, что не нищая Россия виновата в ваших страданиях, а те богачи и всемирные грабители, которые подняли на нее свой меч. Слава вам, верным сынам трудовой республики, отдавшим ей свои силы и свою жизнь в самый трудный момент ее существования».

Эти слова, с которыми обратился к народу VIII съезд Советов, нашли тогда отклик в каждом сердце, в каждой чистой душе, так как почти не было в России ни одной честной семьи, не принесшей Революции своих жертв. Слова: «...и считает своим долгом воздать благодарностью за заслуги всех, кто своим потом и кровью, тяжелым трудом и терпением, мужеством и самопожертвованием для общего дела способствовал победе...» — разве эти слова не относились и к моему отцу, погибшему за Революцию, и ко многим его друзьям, разделившим его



почетную и скорбную участь, и ко всем тем, кто принял смерть в боях под Каховкой и Строгановкой, на штурме Турецкого вала на Перекопе и в боях под Ишунью?

Когда я впервые прочитал эти написанные Лениным слова, чувство невыразимого волнения и горячей благодарности захлестнуло мне душу, я с трудом подавил желание заплакать. Это было в первый день съезда. Вся моя жизнь как бы мгновенно пролетела передо мной, со всеми ее радостями и болями, с друзьями и недругами, проникнутая светом Революции и верой в нее, в ее справедливость и необходимость.

Да, сколько бы лет жизни ни отпустила мне судьба, я никогда не забуду первого дня VIII съезда Советов. Рано утром мы расставили стулья для президиума, накрыли столы красным сукном, принесли из мастерской и установили трибуну, которую вчера заново отциклевали и отполировали, — было странно и радостно знать, что Владимир Ильич будет прикасаться к этому дереву рукой, что это коричневое полированное зеркало будет отражать его движения, его лицо. Мы с Петровичем, работая, не говорили об этом, но по тому, с какой требовательной внимательностью, отклонившись, он всматривался в полыхающую огнем коричневую глубину полированных поверхностей, я понимал, что и он переживает то же, что и я. Да и все рабочие, готовившие театр к торжественному открытию съезда, ходили с озабоченными и просветленными лицами, предчувствуя радость встречи с Владимиром Ильичем.

Съезд открылся 22 декабря в час дня. Зал был набит битком, даже во всех проходах между креслами сидели и стояли люди, одетые в шинели и бушлаты, в драные мужицкие сермяги и кожаные куртки, многие только-только вернулись с фронтов гражданской войны, с подавления кулацких и контрреволюционных мятежей, другие приехали с восстанавливаемых заводов, из далеких нищих деревень России.

Съезд открыл Михаил Иванович Калинин. Тогда он выглядел не таким, каким мы помним его по портретам последних лет его жизни. Молодой и порывистый, и глаза за стеклами очков — веселые. Когда после его первых слов сводный духовой военный оркестр заиграл

«Интернационал» и люди в зале встали и словно окаменели, никогда не испытанный раньше восторг охватил меня, будто только в тот миг до меня полностью дошел смысл нашей победы, словно все, что случилось раньше, только подготовка к этому торжественному дню.

Я стоял возле правой кулисы, где толпилось большинство рабочих, оставленных охраной съезда для работы в театре на время, пока будет идти съезд. Оглянувшись, я увидел блеснувшие слезным блеском глаза Петровича, напряженные и радостные лица других. В зале, вытянувшись, как на военном параде, стояли делегаты; среди них были, кажется, и мои сверстники.

Торжественные звуки гремели под сводами высокого, гулкого зала, и чей-то голос, вначале совсем неслышный, пел:

...насилья мы разрушим  
до основания, а затем...

Тысячи голосов подхватили слова и понесли их, голова заглушала оркестр, было похоже на прибой моря в часы бури; песня захватывала и несла с собой, не было сил противиться ей, не было сил молчать — песня требовала, звала, вырывала голос из горла, из души, из самого сердца...

Мы наш, мы новый мир построим... —

неслось под сводами, и казалось, что песня может опрокинуть стены, словно ураган. А хотя она и была ураганом, тогда только начинавшим свое стремительное движение по планете. И я тоже пел, пел с тем страстным воодушевлением, с каким бросаются в атаку, когда в груди умирает все, кроме одного чувства, одного желания — победить.

Я смотрел в зал, и мне казалось: здесь билось одно большое сердце, кипящее кровью.

Когда наконец оркестр стих, и зал замолчал, и делегаты стали усаживаться на места, тяжело дыша и вытирая слезы, Михаил Иванович, подняв руку, сказал с глубокой и торжественной печалью:

— Товарищи! Наше первое слово, наша симпатия, наша скорбь относятся к тем товарищам, которые погиб-

ли в гражданскую войну на военных и боевых советских и партийных постах. Почтим, товарищи, их память вставанием!

И снова зал встал, но этот его порыв выражал уже другие чувства.

И опять — взмах дирижерской палочки, и берущее за самое сердце, нарастающее дыхание музыки, и полные значения и силы слова, звучащие как присяга тем, кто не дожил до этого дня, кто отдал Революции самое дорогое, что есть у человека, — жизнь. Слова текли и текли, разрывая сердце печалью, туманя глаза. Нет, мне не стыдно признаться, что я плакал, плакал самыми настоящими слезами, мне и тогда не было стыдно, потому что я видел, как и рядом со мной и в зале плакали и старые и молодые, как вытирал мохнатой шапкой лицо бородатый солдат, как моргали за стеклами очков добрые глаза Калинина, как в первом ряду партера плакала седая женщина — олицетворение материнского и человеческого горя.

И казалось, над головами двух с половиной тысяч людей, собравшихся в зале, незримо проходят тени тех, к кому обращены слова гимна, слова благодарности и печали, тени тех, чья жизнь обрывалась на эшафотах и в каменных мешках одиночек, на краю братских могил и в захлебывающемся азарте атак, в казематах белогвардейских контрразведок и в голодном бреде тифозных бараков. В далекой тьме веков начиналось шествие этих теней, сквозь слезы я видел на страшном колесе Стеньку Разина и Емельяна Пугачева и плоты с виселицами, плывшие по Волге, — товарищи Стеньки, повешенные за ребро на крюк, проплывали мимо родных берегов и мертвеющим взглядом смотрели на землю, которую пытались освободить. Снова стояли лицом к смерти коммунары Парижа у стены Пер-Лашез, и снова поднимались на эшафот Александр Ульянов и его товарищи. Снова сотни и тысячи лучших людей страны умирали на Лисьем носу, снова толпы народа хоронили матросов с мятежных броненосцев, снова стоял под пулями лейтенант Шмидт, и черная сотня издевалась над выброшенным из гроба телом Николая Баумана, и 26 бакинских комиссаров падали с откоса песчаного бархана. И в ряду

этих теней шел и мой отец, дорогой мой, мужественный батька, оставивший мне в наследство свою веру в Революцию и свою преданность ей...

И, когда смолкли последние слова и перестала греметь оркестровая медь, стали отчетливо слышны всхлипывания седой женщины в первом ряду. Я всмотрелся в ее лицо, освещенное падавшим со сцены светом, оно казалось прекрасным в своем мужественном горе, и глаза на нем горели черным огнем, было видно, что, если еще сто раз потребуется пройти через все то, через что эта мать прошла, она не поколеблется, не отступит.

Я посмотрел на стоявшего рядом с ней матроса и вздрогнул. Не может быть! Неужели это дядя Сергей, Вандышев? Один из самых дорогих и близких мне людей. Он, кажется, он... Я приник к дырке в полотне декораций, впиваясь взглядом в его лицо. Мне хотелось выбежать к рампе и крикнуть: я здесь!

Но меня толкнули сзади:

— Ильич!

И я сразу позабыл обо всем, что только что взволновало до слез, — и о плачущей женщине, и о Сергее Вандышеве, и о пролетевших в памяти дорогих лицах.

Владимир Ильич, видимо, опоздал к моменту открытия и вошел откуда-то с левой стороны в то время, когда исполнялся гимн; сейчас он стоял возле самого края длинного стола, держа в одной руке несколько исписанных листочков, и, чуть набок наклонив голову, пристально и добро прищурившись, смотрел в зал. Да, права была тетя Маша — в нем с первого взгляда трудно было угадать человека, имя которого приводило в восторг половину человечества, а другую повергало в неистовство и гнев. Ильич был прост. И одет был просто, предельно просто, ничто в костюме не выделяло его из среды окружающих его товарищей: ни пальто с шалевым меховым воротником, которое висело на спинке стоявшего за ним стула, ни костюм. Кстати, уже много лет спустя, когда я прочитал воспоминания о Владимире Ильиче Клары Цеткин, меня поразили написанные ею слова: «...я встретила с Лениным ранней осенью 1920 года... Ленин показался мне не изменившимся, почти не постаревшим. Я могла бы поклясться, что на нем был тот же скром-

ный, тщательно вычищенный пиджак, который я видела на нем при первой нашей встрече в 1907 году...»

Лицо Ильича — усталое, но оживленное. Он смотрел в зал, словно принимая в себя эти тысячи светящихся любовью и преданностью глаз, словно оценивая все сделанное за последнее время и уже заглядывая в завтрашний день.

Когда отзвучали последние слова гимна и в зале установилась тишина, Калинин мгновенным взглядом оглянулся на Ильича, и тот едва заметно кивнул. Калинин поднял на уровень лица руку, но как раз в это мгновение зал, очнувшись, увидел Ленина, и буря аплодисментов всплеснулась и загремела, все нарастая, заливая все ярусы театра, вырываясь сквозь открытые двери в коридор и фойе. Это был такой иступленный прибой человеческой радости, какого мне ни раньше, ни потом не приходилось видеть. Весь зал рванулся к сцене, стоявших впереди притиснули к барьеру, огораживающему оркестровую яму; вытянув над головой руки, потрясая шапками и фуражками, делегаты аплодировали Ильичу, аплодировали и кричали.

Ильич слушал, нетерпеливо поглядывая, потом подошел к трибуне, положил на ее край свои записки и снова нетерпеливо посмотрел в зал. Съезд не умолкал, и опять мне казалось возможным, что стены опрокинутся, упадут.

Овации и крики. Ленин сделал шаг к рампе и, достав из жилетного кармана часы, склонив голову набок, косо, одним глазом, посмотрел на циферблат и, подняв над головой, показал часы залу. И зал стих, не сразу, а постепенно, словно волна тишины, возникнув в передних рядах, покатила назад, заливая зал.

Я думал, что Владимир Ильич сейчас же начнет говорить, но он взял с трибуны свои записки и снова отошел к столу, сел. А на трибуну один за другим поднимались с приветствиями съезду Габриэлян и Касумов — от только что образованных Армянской и Азербайджанской республик, вернувшийся с Южного фронта Бела Кун — «представитель истерзанного венгерского пролетариата»<sup>1</sup>, — так сказал о нем Михаил Иванович. Затем съезд

<sup>1</sup> В 1919 году в Венгрии произошла социалистическая революция, подавленная впоследствии реакционером Хорти,

решил послать сочувственную телеграмму французским коммунистам в связи с трагической гибелью Лефевра, Лепети и Верже... И только после этого к трибуне снова вышел Владимир Ильич, и снова аплодисменты несколько минут не давали ему говорить.

Позднее, когда я изучал историю нашего государства, я не раз перечитывал сказанные тогда Лениным слова. Но тогда я слушал его с какими-то провалами, словно все мои чувства вдруг умирали и оставались жить только глаза — я все смотрел и смотрел на Ильича. Да, он не был похож на легендарного богатыря, которого создало мое воображение, очень обыкновенный, простой человек, только крутой, блестящий в электрическом свете купол лба, да глаза, необычайно живые, необычайно подвижные и яркие, да еще, пожалуй, стремительная рука, подчеркивавшая улетевшую в зал фразу.

Первые слова, которые отчетливо дошли до моего сознания, были о только что окончившейся гражданской войне. И, может быть, потому, что сам я еще недавно сражался с врангелевцами в далеком от Москвы Крыму.

Ильич говорил:

— Вы знаете, конечно, какой необыкновенный героизм проявила Красная Армия, одолев такие препятствия и такие укрепления, которые даже военные специалисты и авторитеты считали неприступными. Одна из самых блестящих страниц в истории Красной Армии — есть та полная, решительная и замечательно быстрая победа, которая одержана над Врангелем...

И снова аплодисменты вырвались из-под тысяч ладоней, и Ленин с усталой улыбкой стоял и слушал. Я заметил, что одно плечо у него немного выше другого и он поворачивает голову влево с некоторым усилием, это, подумалось мне, наверное, последствия выстрелов Каплан у гранатного цеха михельсоновского завода<sup>1</sup>.

Я стоял и слушал как завороченный, и мне было странно, что Ильич говорит такие простые слова: они и до этого как будто жили у меня в душе — такая это большая и нужная правда. На всю жизнь с тех самых минут легли мне в память ленинские фразы:

---

<sup>1</sup> Ныне завод имени Владимира Ильича Ленина.

— ...Мы боролись с «сухаревкой». На днях, к открытию Всероссийского съезда Советов, это малоприятное учреждение Московский Совет рабочих и красноармейских депутатов закрыл. «Сухаревка» закрыта, но страшна не та «сухаревка», которая закрыта. Закрыта бывшая «сухаревка» на Сухаревской площади, ее закрыть нетрудно. Страшна «сухаревка», которая живет в душе и действиях каждого мелкого хозяина. Эту «сухаревку» надо закрыть...

Какие верные, какие пророческие слова! Ведь и до сих пор, спустя почти полвека, в душах многих живет эта подлая «сухаревка», о которой говорил тогда Владимир Ильич, — сколько их и сейчас живет кругом нас, таких, кому собственная шкура и собственный карман ближе и дороже блага народа, дороже того, за что отдали свои жизни такие, как Ленин и его товарищи по партии, его друзья...

Я стоял у правой кулисы недалеко от трибуны, спрятавшись от зала за пахнувшим клеевой краской и пылью полотном. Кто-то из стоявших сзади горячо дышал мне в шею, кто-то шепотом повторял сказанные Лениным слова.

На Ильиче были простые тупоносые черные ботинки и действительно старый, но тщательно вычищенный и выутюженный костюм, темный, заправленный под жилет галстук, испещренный белыми ромбиками, — все самое обыкновенное. Иногда, отрываясь взглядом от его коренастой фигуры, от его предельно выразительных рук, я смотрел в зал; видел лицо седой женщины, лицо дяди Сергея. Теперь я уже не сомневался, что это он; темное каменное лицо и туго обтянутые кожей скулы, манера подергивать во время волнения плечом. Не спуская с Ленина глаза, он слушал, и иногда его жесткие, властные губы беззвучно шевелились, повторяя услышанное.

Кончая доклад, Ильич говорил:

— Мне пришлось не очень давно быть на одном крестьянском празднике в отдаленной местности Московской губернии, в Волоколамском уезде, где у крестьян имеется электрическое освещение. На улице был устроен митинг, и вот один из крестьян вышел и стал

говорить речь, в которой он приветствовал это новое событие в жизни крестьян. Он говорил, что мы, крестьяне, были темны и вот теперь у нас появился свет, «неестественный свет, который будет освещать нашу крестьянскую темноту»...

Ильич весело и чуточку озорно усмехнулся, и, как ответ его улыбки, пролетели улыбки в зале.

Сложив записки, в которые он так и не заглянул, подойдя к краю сцены, Владимир Ильич со страстной убежденностью сказал:

— ...и если Россия покроется густою сетью электрических станций и мощных технических оборудований, то наше коммунистическое хозяйственное строительство станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии.

И снова грохот аплодисментов залил зал, и снова колыхались золотые кисти и шелковые и сатиновые полотнища знамен, дребезжали от криков стекла в окнах фойе.

Владимир Ильич торопливыми шагами отошел от трибуны и, присев у стола на край стула, принялся что-то записывать: видимо, пока говорил, родилась новая мысль.

Мне была видна его спина, чуть сутуловатая от ежедневного многочасового сидения за письменным столом, и его задвинутые под стол ноги в черных тупоносых ботинках со сбитыми каблуками, старательно начищенных по случаю праздничного дня. «Наверное, сам и чистил, — подумалось мне, — ведь он не терпел, чтобы за ним ухаживали или прислуживали ему». И мне вспомнился коротенький, услышанный вчера рассказ.

В Совете Народных Комиссаров несколько дней назад сотрудникам выдавали по списку картошку — по пуду на человека. Фамилия Владимира Ильича стояла первой в списке, и против нее была вписана цифра «2», вторым шло имя Надежды Константиновны Крупской, здесь, как и у всех остальных в списке, было написано: «1». Владимир Ильич, прежде чем расписаться в списке, зачеркнул против своей фамилии двойку и вписал единицу, а фамилию Крупской вычеркнул совсем, пояснив на полях: «В Совнаркоме не работает».

Он сидел и писал, его куполообразный сократовский



лоб блестел, словно выточенный из слоновой кости, а зал все не мог, не хотел успокоиться: аплодисменты и крики то затихали, то снова вспыхивали с новой силой, будто огромное человеческое море, море любви и преданности, билось о застланный красным стол, у края которого сидел Ленин.

## ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА

Первым в прениях по докладу Ильича выступал лидер меньшевиков Дан. С пеной на губах, то выбрасывая вперед руки, то театрально отступая назад, Дан говорил о насилиях большевиков над крестьянством, о том, что Чека властвует над президиумом ВЦИКа, о том, что меньшевики не попали под амнистию, объявленную в связи с годовщиной Революции. Я дословно помню некоторые его фразы, может быть, потому, что не могу забыть налитого смертельной ненавистью взгляда, каким он смотрел на Ильича.

Дан кричал:

— И вот Цека партии меньшевиков, видя, что эта амнистия не применяется к нашим, подал в Президиум ВЦИКа бумагу, где указывается на целый ряд случаев, когда наши товарищи после этой амнистии сидят в тюрьмах и концентрационных лагерях!..

Гневным шумом ответил ему на это зал! «Так и надо! — крикнул кто-то. — Изменники!» Несколько жиденьких хлопков раздалось в ложах, но и они сейчас же смолкли.

Ильич сидел совершенно спокойно, что-то изредка пометая в блокноте, потирая ладонью лоб, глаза его смотрели мимо беснующегося Дана в зал...

По окончании заседания я пробежал по закулисным коридорам в один из залов фойе, где по-муравьиному копошились делегаты и гости съезда. Мне хотелось сейчас же найти дядю Сергея, обнять его, поговорить.

Густой махорочный дым колыбался над солдатскими папахами и мужицкими треухами, слитный шум голосов наполнял коридоры и залы; обсуждали доклад. В одном из углов тщедушный, чахоточный человек, собрав около

себя человек десять, повторял сказанное Даном: о нарушении демократии, о засилии Чека.

Я побежал дальше по коридору, останавливаясь у каждой двери и заглядывая в шумную тесноту зала. Вандышева не было. Я пробежал по коридору еще и еще раз. И вдруг в толпе, спускавшейся по лестнице с верхних ярусов, мелькнуло знакомое лицо. Нет, не Вандышева, а тонкое, породистое лицо Граббе. Воротник солдатской, прожженной в нескольких местах шинели был поднят и прикрывал нижнюю часть лица, а глаза под сдвинутыми бровями смотрели тоскливо и злобно, на губах держалась неопределенная улыбка. Расталкивая людей, я, позабыв о Вандышеве, бросился за Граббе, он оглянулся, увидел меня и узнал, лицо перекосилось и стало пепельно-бледным. Заспешив, он скрылся за поворотом лестницы, сбегал на следующий марш. Когда я пробился сквозь толпу туда, где только что мелькнуло его лицо, я уже не увидел его внизу — он, наверное, тотчас же ушел из театра.

В первое мгновение, когда я увидел его, чувство ледящего страха пахнуло мне в душу — значит, ему и, может быть, еще кому-нибудь из его сообщников удалось пробраться в театр. Зачем? С какой целью? Делегатами съезда они, конечно, быть не могли. Значит, раздобыли гостевые билеты — наверное, при содействии тех же меньшевиков, ненавидевших Ильича смертельно. С чувством глубокого облегчения я вспомнил, что только сейчас, перед закрытием первого пленарного заседания, по предложению Енукидзе съезд принял решение об аннулировании гостевых билетов. Зал Большого театра со всеми его пятью ярусами вмещает только две тысячи двести человек, а на съезд приехало 2418 делегатов — двум сотням делегатов придется на пленарных заседаниях устраиваться в проходах между креслами, стоять у дверей. Поэтому-то гостевые билеты решено было аннулировать.

Значит, теперь по гостевым билетам Граббе и его единомышленники не смогут проникнуть в театр. Страх, охвативший меня, отступил, погас. Но сейчас же вспыхнул с новой силой: а если Граббе пришел не по гостевому билету, если, скажем, они где-то в пути или тут, в

Москве, подстерегли и убили или ограбили кого-то из делегатов и завладели мандатом! Что тогда?

В смятении я бегал по залам и коридорам, заглядывал в пустые репетиционные залы, дежурил у дверей, в вестибюле.

Вандышева я нашел уже у самого выхода, он стоял в толпе матросов-балтийцев, весело и шумно споря. Здесь же оказался и Роман Гаврилович, они собирались на квартиру к Корожде. Вечером Вандышеву предстояло явиться на заседание большевистской фракции съезда, а сейчас у всех было по несколько свободных часов — можно было поесть и поговорить. Мы отправились на Маросейку, к дяде Роману. В пути рассказывать о Шустове и Граббе было неудобно, на улицахлюдно, и идти нередко приходилось не рядом, а друг за другом — серьезного разговора не получилось бы.

Тетя Маша уже вернулась с Трехгорки и хлопотала возле печурки; Гришутка, сидя в углу кровати, перебирал самодельные игрушки, колесики от часов и дощечки.

— Батюшки! — всплеснула руками Маша, увидев Вандышева. — Да ты еще живой, Серега? Все еще не устукали тебя махновцы да врангелевцы? Дай-ка, дай я на тебя погляжу. Боже ж мой, да ты начисто седой стал!

— Года, года, Машенька! Ты-то, гляжу, тоже не больно помолодела.

Сели к столу, и я рассказал Роману и Вандышеву о появлении на съезде Граббе. Они встревожились необычайно, лицо Вандышева потемнело, помрачнело; закурив, он принялся ходить по маленькой комнатке, натываясь на углы стола и кровати, на табуретки.

— Чуюло мое сердце, чуюло, что черное тут кроется! — говорил он. — А ты, Роман! Тебе же все было известно!

— Так меры же приняты. Следили за ними. И не только Данил. Ну, а кто ж знал, что сумеют пробраться на съезд! — развел руками Роман. — Да ведь, пойми ты, нет прямых оснований для их изъятия. Обыск у Граббе ничего не дал, никаких улик. Ну, с чем, с какими основаниями я буду просить санкцию на арест? А? Теперь же это не просто, Серега...

— Но ведь и за версту видно, что это подозрительные!

— А! — отмахнулся Роман. — Если всех подозрительных по тюрьмам сажать, надо в Москве еще десять Бутырок строить!.. Но охране съезда я все это сегодня же в голову вобью. Станем караулить. И если они еще раз попытаются, если у них чужие мандаты или подделка какая — тут их песня спета!

В ближайший день мы ждали каких-то решающих событий. Но ничего не произошло. Несколько раз я забегал к Жестяковым, думая узнать что-нибудь о Граббе, но последние дни, поссорившись со стариком, он не показывался; где ночевал и что делал — неизвестно. В окнах квартиры Шустова тоже было темно; когда я по утрам приносил дрова, мне открывала дверь та самая суровая старушка с агатовыми недобрыми глазами, о которой я уже упоминал. Не спуская с меня глаз, она наблюдала, как я складывал дрова возле буржуйки, потом, так и не сказав ни слова, шла следом за мной к двери и запирала.

Из соседней комнаты долетал все более слабеющий женский голос, кого-то звавший.

Когда я пришел во второй раз, я решил спросить о Шустове.

— Зачем тебе? — спросила старушка.

— Он же за дрова платить обещал, а сам... Я не стану больше дрова носить. Того и гляди, шею за эти заборы намнут, да еще зазря — бесплатно... Не стану, — приворясь придурковатым, бормотал я. — И так вчера чуть милиция не заарестовала...

Старушка забеспокоилась, в глубине ее темных глаз проснулась тревога и сочувствие ко мне, что ли. Пожевав в раздумье тонкими сухими губами, сказала:

— Ты зайди вечером попозже. Он будет дома. Он тебе чего-нибудь даст... И возьми ведро, принеси нам, пожалуйста, воды...

— Ия! — слабо позвал из спальни женский голос.

Вечером, по окончании заседания, я снова встретился с Вандышевым и дядей Романом. Мы долго стояли на ступенях главного входа и смотрели, как растекаются по

площади шумные человеческие реки. Многие делегаты жили в Первом и Втором домах Советов — в зданиях гостиниц «Метрополь» и «Националь» — и направлялись туда. Падал редкий, невесомый снег, мягкий, пушистый, почему-то вызывающий в памяти полузабытые картины детства. Едва светили редкие фонари, молоденький остророгий месяц неся в вышине, за белой штриховкой снега.

Я сказал товарищам, что сегодня вечером Шустов, наверное, будет дома, и мы решили отправиться на Никитскую вместе. Никакого определенного плана не было, мы не имели права на обыск или арест, но все-таки решили идти — надо было как можно скорее проникнуть в тайну вражеской возни, отвести угрозу от Ильича.

В пути — маленькое происшествие. Шли по Дмитровке и возле бывшего театра Зимина остановились у крупно написанной на фанерном листе афиши. Отмечалось недавно минувшее столетие дня рождения Энгельса, и после доклада о его жизни обещали концерт силами «прославленных артистов столицы». Может быть, и прошли бы мимо, если бы не приписка в самом низу: «Красноармейцам и красным командирам вход бесплатный».

— Зайдем на минутку? — предложил Вандышев. — Послушаем «прославленных». А то когда еще соберемся.

— А что же? — отозвался Роман. — Только не прокараулить бы коньячного потомка!

— А попозднее даже лучше.

Зал был полон, люди сидели в одежде и в шапках, атели на буденовках звезды. Доклад окончился, шел концерт. Длинный жеманный конферансье с тонкими усиками и с галстуком бабочкой объявлял номер:

— А сейчас, граждане, наш дорогой и уважаемый... — он назвал не запомнившееся мне имя, — исполнит эпиграмму<sup>1</sup> из «Нерона»<sup>2</sup> «Пою тебе, о бог любви, о бог Ги-меней».

— Ишь ты, — удивился кто-то в зале. — Игуменей!

---

<sup>1</sup> Эпиграмма — свадебная, торжественная песня.

<sup>2</sup> «Нерон» — опера великого русского пианиста, выдающегося композитора и общественного музыкального деятеля Антона Григорьевича Рубинштейна (1829—1894).

Тучный лысый певец, выкатывая глаза, пел, а в зале тайком покуривали в рукава и перебрасывались негромкими шуточками:

— Вот дает, Игуменей! Погонять бы такого по окопам, слинял бы. А?

Потом, молитвенно сложив на животе руки, тощая рыжая женщина с дряблой шеей, тряся цыганскими серьгами, пропела: «Прощай, Заза!»

— До свидания, бабуся! — крикнули из зала, когда уходила.

В зале нарастал шум, кто-то с сердитым недоумением спросил:

— Ну, а старик Энгельс здесь при чем?

И когда вышли еще двое, она — в белом бальном платье, он — в черном фраке и, явно издеваясь над залом, подбоченясь, запели: «В селе Малом Ванька жил, Ванька Таньку полюбил...» — из зала злой голос крикнул:

— Будя! Наше давай, революционное! «Варшавянку»!

— Давай! Давай! — подхватили сотни голосов.

Зрители повскакали с мест и кричали, топая ногами: — Даешь!

Актеры постояли молча и, не поклонившись, ушли. Конферансье, не в силах перекрычать нарастающий шум, разводил руками.

— Да они не знают «Варшавянки», контровые душонки! — сказал медлительный седоватый человек в кавалерийской шинели. Протискался к сцене и, встав у барьера, поднял руку. Голосом, привыкшим командовать, чуточку хриплым, но сильным, сказал, разделяя слога: — Ти-хо!

Зал послушался, шум стих. И тогда седоватый запел:

Вихри враждебные...

И первые же слова подхватили сотни голосов, особенно выделялся мальчишеский тенорок, тоненькая серебряная ниточка, — слушая, хотелось смотреть вверх.

Когда пропели первые два куплета, запевала в кавалерийской шинели не торопясь пошел к выходу, за чем, не переставая петь, двинулись остальные. Так, с пением, и

ушли, допевали на улице, под метелящим небом. И мы пели вместе со всеми.

— Это так, это по-нашему, — одобрил Вандышев, надевая шапку.

Пошли дальше. Когда подходили к дому Шустова, я снова увидел в окне горящую лампу, хотя теперь она стояла глубже в комнате и свет ее не был так ярок.

Мы постояли в сторонке, глядя на этот кого-то зовущий свет.

— Маячат, гады, — процедил Роман. — У тебя, Серега, пушка с собой?

— Не расстаюсь.

— Добро. Мы им сейчас дадим.

— Сейчас не стоит, дядя Роман, — посоветовал я. — Раз лампа на окне, значит, не собрались. И вообще уйти бы, а то спугнем. Увидят — уйдут.

— И то. Куда же?

Я провел их к Петровичу, он был уже дома. Познакомились, поговорили. Несколько раз я выходил, смотрел — лампа стояла на окне. Когда ее убрали, я взял приготовленные с утра дрова и пошел наверх посмотреть, если удастся, что происходит в квартире Шустова, и уж потом решать, что делать. Заговорщиков могло оказаться несколько человек, и, наверное, они были вооружены.

— Ну, иди, Данил, нюхай. А я пока за подмогой слегаю, — сказал Корожда. — Тут рядышком милицейский участок. А то пойдем по шерсть, а вернемся стрижеными.

Мне открыли не сразу, за дверью шла едва слышимая возня: шаги, шепот. Когда дверь распахнулась, на пороге стоял Шустов. Увидев меня, посторонился, давая пройти, а когда я положил дрова возле печурки, он запер дверь и ключ положил в карман.

Несколько мгновений, словно раздумывая над чем-то, стоял молча и смотрел на меня с выражением деловой жестокости. Прошел через комнату и, распахнув дверь кабинета, жестом приказал мне войти.

В кабинете, на диване и на стульях возле стола, сидели Граббе и еще двое мужчин; в них угадывались военные, хотя одеты они были в гражданскую, потрепанную одежду. На столе стояла початая бутылка коньяку

и крошечные, синего стекла рюмки, на тарелке — обломки галет. Окно на улицу теперь было занавешено пледом.

Когда я вошел, все трое с холодной, недоброй пристальностью посмотрели на меня. Граббе как бы нехотя встал, подошел ко мне — пахло коньяком и табачным дымом. Я смотрел в его ненавистное лицо и радовался тому, что внизу, у Петровича, меня ждут.

Не сказав ни слова, Граббе изо всей силы ударил меня кулаком в лицо; это было так неожиданно, что я не успел заслониться. У него были твердые, словно железные, кулаки, я отлетел в угол и ударился головой о стену.

Шустов стоял у дверей, опершись плечом о косяк, двое других сидели молча. Граббе сказал сквозь зубы:

— Ленинское отродье! — и, отойдя к столу, налил рюмку коньяку. Выпил.

Я стоял в углу и смотрел на них. Я понимал, что пошадить ждать нечего, бесполезно и просить и молить, и мне хотелось завывать от тоски, от жалости, что так бессмысленно кончается жизнь. Вдруг Вандышев и Корожда не догадаются, что я попал в беду. Что делать? Кричать? Бесполезно, да и не дадут. Броситься в окно? У окна сидят двое, у стола стоит Граббе.

— За что? — пытаюсь притвориться дурачком, спросил я. — Я ничего не знаю...

— Скоро узнаешь, — пообещал один из сидевших на диване. Достал из кармана браунинг и, косо посмотрев на меня, положил на край стола.

И тут я вспомнил, что в кармане у меня пистолет капитана Жестякова, я носил его с собой, хотя и понимал его бесполезность. Но, подумалось, могу, может быть, напугать. Эх, если бы хоть один патрон, убил бы одного гада. И выстрел услышали бы внизу.

Я стоял в углу, а они, четверо, спокойно и деловито обсуждали, что со мной делать. Отпускать меня нельзя, с этим они все соглашались. Убить? А куда девать тело? Не тащить же его по улице, не везти на извозчике. Отвести подальше от дома и где-нибудь в глухом переулке пристукнуть? А вдруг по дороге патруль, милиция? Опасно и грозит провалом. А провала они боялись больше всего, все еще надеялись пробраться на съезд и попы-



таться убить Ленина. Сколько бы лет я ни прожил, я никогда не забуду, с какой спокойной жестокостью обсуждали они детали своего плана, не забуду чувства испытанной тогда смертной тоски. Я уже видел, как они волокут меня, мертвого или полумертвого, по сонным, безлюдным улицам...

Мне удалось дотянуться до кармана, где лежал пистолет, но Граббе заметил, прервав себя на полуслове, подошел, еще раз ударил и, сунув руку ко мне в карман, вытащил пистолет.

— Видали? — усмехнулся. — Щеночек-то, оказывается, с зубами. У, тварь! — и ткнул мне в лицо дулом. Вынул магазинную коробку и, увидев, что она пустая и что в стволе нет патрона, швырнул пистолет в угол дивана.

И тут мне пришла в голову мысль: а если брошусь на одного из них, если попытаюсь схватить лежащий на столе браунинг, может быть, кто-нибудь выстрелит? Меня они все равно не выпустят живым, но ведь надо же, чтобы их взяли! Дождавшись, когда никто не смотрел в мою сторону, я прыгнул к столу, протянув к браунингу руку. Но рука не дотянулась, сильный удар в лицо откинул меня назад, в угол, я упал. Падая, услышал:

— Не стреляй, Краб!

Двое, я уже не разглядел кто, подошли и принялись бить меня ногами, в лицо, в пах, в бока, — оба были в сапогах. Я закрывал лицо руками, сжимался в комок, задыхаясь и теряя сознание от острой, пронизывающей боли. И странно — какие-то далекие позабытые картины вспыхивали и потухали в памяти, вспыхивали и потухали как раз в то мгновение, когда тело пронизывала боль удара. Как сквозь сон — негромкие злые слова:

— Красная сволочь!.. Ублюдок... Тварь!

Потом они оставили меня. Шустов принес из соседней комнаты тонкие зеленые шнурки, то ли от штор, то ли от чемодана, и мне скрутили руки и ноги, заткнули рот моей варежкой. Во время этой возни слабый женский голос из глубины квартиры позвал: «Ия!» — и Шустов, раздраженно бросив на ходу: «Извините, господа», ушел.

Когда вернулся, они, посоветовавшись, решили, что позже, когда дом уснет, оттащат меня на чердак, ключ от которого хранился раньше у Ферапонтыча, а теперь

оказался у Шустова, и оставят там: «Подохнет с голода или замерзнет, скотина!»

Я с трудом сдерживал стоны и крик, так сильно бо-  
дели сразу распухшие руки, тонкие шнуры глубоко вре-  
зались в тело; как в нарыве, больными толчками билась  
кровь. И хотя я мысленно попрощался с жизнью, надеж-  
да еще теплилась в глубине сердца. И когда, спустя, как  
казалось, целую вечность, сквозь кровавую муть, обво-  
лакивавшую сознание, я услышал громкий стук в дверь  
и увидел, как эти четверо с посережевшими и окаменевшими  
лицами медленно поднимались со своих мест, когда  
Граббе, прыгнув к окну и отодвинув край пледа, выгля-  
нул и сказал сквозь зубы: «Все! Стоят!» — я засмеялся от  
радости, что эти волки сейчас будут схвачены и посаже-  
ны в клетку и уже никогда ни на кого не смогут поднять  
свою подлую руку, засмеялся от радости возвращающе-  
го ко мне ощущения жизни.

С перекошенным лицом Граббе подошел ко мне и за-  
махнулся ногой, но не ударил: дверь в квартиру треща-  
ла под ударами, и я услышал голос Вандышева.

— Будем отбиваться? — спросил Граббе, вытаскивая  
револьвер.

— Тогда-то уже наверняка конец, — деланно зевая,  
отозвался один из четверых, доставая папиросу.

— Значит, на милость хамов?

— Я предпочитаю жизнь. Отопри, Аркадий.

Тяжело, словно ступая по пояс в воде, Шустов вышел,  
но отпереть не успел: послышался треск ломающихся до-  
сок, железный скрежет замков, и в квартиру ворвались  
люди. Странно звенящий голос Вандышева крикнул:

— Руки вверх! Оружие!

Медленно, неохотно, будто еще на что-то надеясь,  
поднимали заговорщики руки.

— Данька! — с тревогой позвал Вандышев.

Я засмеялся в ответ, засмеялся и заплакал от радо-  
сти и от боли: шнуры врезались в тело почти до костей,  
до сих пор на левой руке ношу беловатый шрам.

— Вот и еще раз встретились, барин! — сказал Ван-  
дышев, подходя к Шустову.

Тот не ответил, губы и руки у него дрожали.

Заговорщиков обыскали, отобрали револьверы, у Шу-

стова взяли записную книжку с буквенными и цифровыми записями. Когда уводили, Граббе, проходя мимо меня, усмехнулся криво и страшно:

— Знать бы... Я бы тебя, щенка, давно придушил...

— Но-но! — прикрикнул Вандышев.—Шагай, контра!

Квартиру обыскали, но ничего не нашли. И только под угро, перебирая связку ключей и пробуя ключи на всех замках, в доме обнаружили, что одним из них отпирается ведущая в подвал железная дверь рядом с дворницкой. Там, в подвале, в стене нашли кое-как замаскированный тайник — глухая каменная яма без окон, с обледенелыми стенами. До самого входа громоздились ящики с коньячными бутылками, а в дальнем углу, под полусгнившими мешками, тускло поблескивало оружие: револьверы и карабины, кинжалы и бомбы.

Так окончился еще один из множества заговоров, поднявших руку на Революцию...

### ЗДРАВСТВУЙ, ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ!

На следующий день съезд слушал доклад Кржижановского о плане ГОЭЛРО, доклад, который в холодном и неярко освещенном зале звучал как сказка, как несбыточная мечта. Ведь для того чтобы освещать Большой театр в дни съезда и зажечь карту электрификации, пришлось выключить свет в нескольких районах Москвы! Предел нищеты! А Кржижановский, развивая мысль Ильича об электрификации, говорил о станциях, которые мы построим в первую очередь, о морях электрического света, что затопят необъятные просторы России.

Высокий, худощавый, с черными разлетающимися бровями, Кржижановский водил по карте деревянной указкой и говорил, а Ильич, чуть подняв правое плечо, прищурившись, смотрел то на карту, то в зал, то в лежавший перед ним блокнот. Он был в тот вечер странно задумчив, и обычно живые, искрящиеся глаза его как будто смотрели в далекое, никому не видимое будущее.

На карте вспыхивали синие лампочки — они обозначали уже существующие небольшие электростанции, вспыхивали красные — это те, что предстояло построить.

— ...Сооружением мощной плотины на Днестре, у города Александровска, — говорил Кржижановский, — мы можем достигнуть такого подъема воды, что она закроет знаменитые Днепровские пороги, а получающийся при этом напор воды даст возможность создать здесь крупнейшую ГЭС России. Спасение петроградской промышленности зависит от развития тех ГЭС, которые намечаются здесь на реке Волхов и на реке Свирь...

И, кончая доклад, Глеб Максимилианович сказал с силой и печальной гордостью:

— Таким образом мы будем лечить ужасные раны войны. Нам не вернуть наших погибших братьев, и им не придется воспользоваться благами электрической энергии. Но да послужит нам утешением, что эти жертвы не напрасны, что мы переживаем такие великие дни, когда люди проходят как тени, но дела этих людей остаются как скалы!

Запомнилось мне в этот день выступление еще одного делегата. Речь его, непосредственная, искренняя и взволнованная, несмотря на некоторое косноязычие, крепко ложилась в память. Фамилия его, кажется, была Яхневич.

Оборванный, в сбитых сапогах и засаленном рабочем пиджаке, в темной косоворотке, шея обмотана вместо шарфа обрывком серого полотенца с висящей по краям бахромой. Он говорил, прижимая к груди огромные корявые руки, руки человека, проработавшего на тяжелой физической работе всю жизнь.

— ...Ничего своего у меня нет, — говорил он и оглядывался в президиум, на Ильича, словно тот мог подтвердить сказанное. — После двадцати лет батрачества на всяких там кулаков да попов и после призыва я прибыл в Петроград. Я беспартийный. Конечно, я не мятежной души. Но, хотя и так, я должен несколько слов присовокупить... История пришла к нам. Все в природе движется: и звезды, и планеты, и Солнце; ученые это хорошо знают, что если нет движения, то нет жизни. А даже неученые понимают, что стоячая вода гниет, а если вода течет, она очищается. И вот мы шли вперед, хотя и пришлось принести в жертву много жизней. Иначе, однако, не получилось бы того, что сейчас на этом съезде: сел и разговариваешь, как товарищ. Раньше говорили: это

черная кровь, а это голубая, это обезьяны, это серый русский мужик, это медведь сиволапый...

Он замолк, постоял, его большие шершавые кулаки теснее прижались к груди. Ему хлопали, и он прислушивался к аплодисментам с удивлением. Потом продолжал:

— ...Вот в этом и есть большая разница, на которую я не успел здесь показать. Я только немного поделился впечатлением. Мы не играем втемную...

В этот момент я посмотрел на Ильича, он слушал с напряженным и радостным вниманием и на эти слова делегата несколько раз качнул головой и прошептал: «Так, так...»

— ... и мы, деревенские, сиволапые мужики, здесь все узнали, нам все здесь разъяснили, как обстоят дела... Товарищи, Революция требует жертв, жертв наших братьев, нашей крови. Ничего не поделаешь: если огонь горит, то в костер надо подкладывать. Так и у нас: огонь Революции горит, нужны жертвы для того, чтобы мы соединились в единый интернационал, где нет ни белокожих, ни чернокожих, ни серокожих, — все, как один. И вот мы должны в костре интернационала поддерживать пламя, а чем — нашим честным трудом. Вот как обстоит дело...

Яхневича провожали дружными аплодисментами, и Ленин смотрел ему в спину светящимся взглядом, как бы говорящим: «Народ! Он все понимает, народ...»

А я смотрел на Ильича, и в сердце моем ширилась и росла радость: вот он какой, Ильич!..

Что же сказать в заключение рассказа о тревожных днях моей юности? Вандышев погиб через три месяца после описанных мною событий. Он был делегатом X съезда партии и в числе трехсот коммунистов прямо со съезда уехал на подавление кронштадтского мятежа, был ранен при штурме и умер на льду Финского залива. Когда я думаю о нем, я всегда вспоминаю прекрасные строчки Багрицкого, словно они написаны именно о Вандышеве:

Нас водила молодость в сабельный поход,

Нас бросала молодость на кронштадтский лед.

Счастье всей моей жизни и состоит в том, что на жизненном пути я встретил многих таких, как Вандышев, умевших забывать о себе ради великого дела, которому отдавали все силы своего сердца и саму жизнь...

Тот год стал переломным годом и в моей жизни. Я поступил на рабфак, потом в институт, позже туда же поступила и Оля. Похоронив старика Жестякова, мы с ней работали на строительстве многих ГЭС. Мы строили Рыбинскую и Цимлянскую, бурили первые скважины в Жигулевском створе, где сейчас вращаются турбины гидростанции имени В. И. Ленина, лили «большой бетон» на Усть-Каменогорской, перекрывали бешеную Ангару.

И каждый раз на пуске новой ГЭС я вспоминал и вспоминаю полуосвещенный зал Большого театра и светящуюся красными и синими лампочками первую карту электрификации России. Как давно это было! Сколько за эти годы построено! Галактики электрических солнц заливают теплом и светом тысячеверстные пространства когда-то темных и заброшенных углов нашей земли, «каторжную» Сибирь, далекий Дальний Восток, Север, и в каждом из электрических солнц живет и бьется бессмертное сердце Ильича.



## О Г Л А В Л Е Н И Е

У моря . . . . .	3
Смерть капитана Жестякова . . . . .	11
Ночные встречи . . . . .	18
Дорога . . . . .	25
«Да я же тебя никогда не видел» . . . . .	32
«Гунны, гунны!» . . . . .	40
«Наверно, потонет наш Кораблик» . . . . .	48
Ночная облава . . . . .	55
Новые знакомства . . . . .	68
«Они! Больше никому!» . . . . .	74
Контрасты . . . . .	82
«Последнее мыло» . . . . .	91
«А жизнь идет...» . . . . .	96
Оля вернулась . . . . .	103
В театре . . . . .	110
«Шаги судьбы» . . . . .	119
Оля и я . . . . .	124
Исчезнувшие реликвии . . . . .	131
Так вот он какой, Ленин! . . . . .	137
Последняя схватка . . . . .	146
Здравствуй, завтрашний день! . . . . .	156

## Для среднего возраста

*Рутько Арсений Иванович*

### ТЕБЕ МОЕ СЕРДЦЕ

Ответственный редактор *К. А. Черненко*. Художественный редактор *С. И. Нижняя*.  
Технический редактор *Т. М. Токарева*. Корректоры *С. А. Ведешина*  
и *Э. Л. Лофенфельд*.

Сдано в набор 13/V 1963 г. Подписано к печати 2/VIII 1963 г. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
5,06 печ. л.—8,3 усл. печ. л. (8,21+1 вкл.—8,26 уч.-изд. л.). Тираж 65 000 экз.  
ТП 1963 № 360. А09219. Цена 51 коп. Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 4799.







